

Мария
ТЕРЕХОВА

И такую жизнь пере-жили

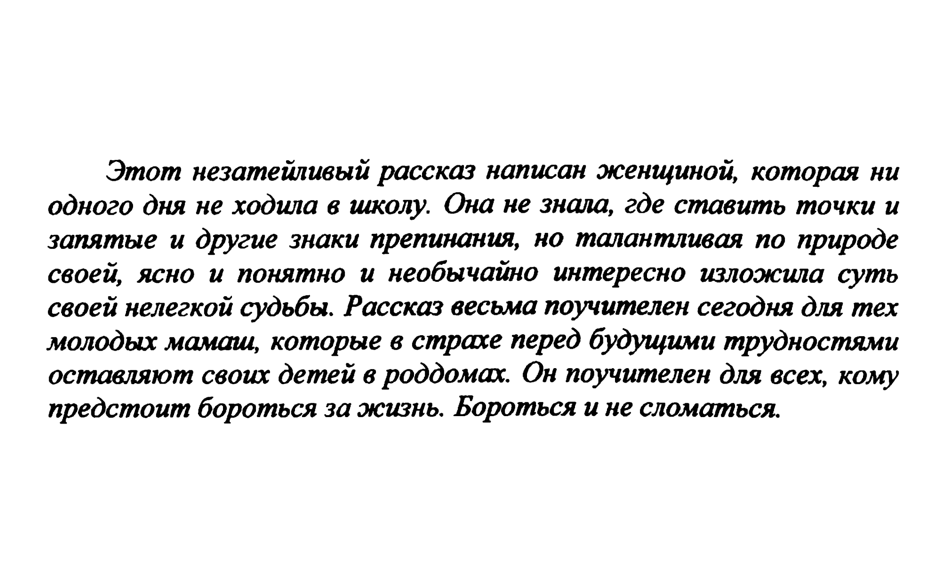
Мария Терехова

И ТАКУЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕЖИЛИ

Рассказ - быль

Издание второе, дополненное

Волгоград 2012



Этот незатейливый рассказ написан женщиной, которая ни одного дня не ходила в школу. Она не знала, где ставить точки и запятые и другие знаки препинания, но талантливая по природе своей, ясно и понятно и необычайно интересно изложила суть своей нелегкой судьбы. Рассказ весьма поучителен сегодня для тех молодых мамаш, которые в страхе перед будущими трудностями оставляют своих детей в роддомах. Он поучителен для всех, кому предстоит бороться за жизнь. Бороться и не сломаться.

Фото на обложке: справа – Мария и Федор Тереховы. Им еще не грозила ссылка.

Слово об авторе

Мария Георгиевна Терехова потомственная казачка (донская) из старинного рода Панкратовых, проживавшего в хуторе Андреяновка, расположенном в Сухопесковатской лощине, по которой весенние воды стекают с Калачско-Донской гряды в Дон. Потому и относятся эти места к Придонью, а казаки – степняки называются донскими. Андреяновка, земли которой вместе с хутором купленные во второй половине 18-века полковником Иваном Андреяновым из станицы Нехаевской, оказалась далекой от цивилизации: известная в России станица Вешенская от нее за 40 верст, Алексеевская, что на Хопре, чуть больше. Города уездные, станции железнодорожные тоже далеко. Лошадьми добираться до них приходилось не менее двух суток. Более века назад самая близкая школа появилась в Ежовском хуторе. Да и то начальная. Люди жили сплошь неграмотные. Занимались земледелием, животноводством. По бескрайним просторам бродили табуны лошадей, которых по заказу царского правительства выращивали для армии состоятельные казаки Рощины, Панкратовы, Тереховы и др.

К началу прошлого века Россия разорилась от бесконечного участия в войнах, не стало хватать денег на покупку лошадей. Их брали в долг, а долг не выплачивали, и коневодство пришло в упадок. Панкратовы завели постоялый двор.

Жили большой семьей: сыновья, дочери, снохи, дети. Все дела были в руках деда Павла Константиновича – человека строгих правил. Сам работяга, себя не щадил и другим в лени потатчиком не был. В этой семье и родилась девочка Маша у Георгия и Акулины Панкратовых. Росла, окруженная любовью деда, веселая, кудрявая, подвижная, певучая. В семье звали ее Дедов хвостик. Куда дед, туда и она: в поле, в лес, в церковь, на ярмарку, она с ним. Все ей интересно вокруг: это кто поет? Это кто свистит? А как называется этот цветок? Дед объясняет.

Вот пришла пора в школу. Дед не хочет отдавать внучку – не верит в способности учителя. Молодой. "Он что больше меня знает? Сам выучу". Сам он тоже в школу не ходил. На службе казачьей читать, писать кое-как научился. Зато деньги считать умел – сколько ни дай, в точности определит сумму. Это он считал главным в жизни.

Талант у внучки проявился совсем в другом. Павел Константинович и не подозревал, что девочка не зря часами разглядывает цветы: полевые, домашние – не важно где выросшие, главное, что они красивые. Он уйдет из жизни так и не узнав, что Маня, его любимая внучка, пристрастная к красоте земной, проявит себя как художница. Нет, не на холст красоту увиденную в природе, станет переносить, а на ковры.

Талант свой она проявила при нужде во времена НЭПа. Практичная, мать ее Акулина Ивановна, овдовев, искала выход уберечь детей от голодной смерти. Отдала в обучение старшенькую Дуню калачевским мастерам ковроткацкого дела. Дуня освоилась, и начала ткать ковры без затей с простыми орнаментами по краям, с традиционными, не богатыми разнообразием красок узорами по полю. Простые первые ковры на ярмарке пошли нарасхват. Оказывается и в голодное время были люди богатые.

Маня как-то быстро переняла опыт сестры и пошла дальше. На полях ковров появились сюжетные картинки из быта донского казачества. Ей стали делать заказы, которые давали хорошую прибыль. Акулина Ивановна смогла купить машину – молотилку, с помощью которой она стала зажиточнее. А Маню взял в жены видный казак Федор Терехов. Это мои родители.

Отец–мастер на все руки. Съездил в Калач воронежский к мастерам ковроткацким, посмотрел как выглядят станки, и, вернувшись домой, сделал свой для жены рукодельницы. И появились в доме на полах и стенах удивительной красоты ковры. Ни у кого, даже в более богатых домах, таких как Рощиных, Гуреевых подобного не было. Но была в хуторе зловредная зависть к Федору, человеку, по мнению завистников, необычайно везучему: дом, лучший в хуторе, строили дед и отец – достался ему; девочка – лучшая рукодельница в хуторе – оказалась в его доме. Сватавший ее Степан Черноиваненков с укоризной припомнил ей однажды: "Не пошла в избу, где и плетня нет, а пошла в дом за высокими заборами, да крепкими запорами". Не пошла. У нее был выбор: Федор и лицом, и статью, и умом взял. А работящий... Не мот совсем, не пьяница. Что ни делал, все в дом, все для семьи.

Когда пришло время репрессий, позволившее завистникам отнять у него все, что имел – отняли: дом, все что в доме и во дворе, землю, родину и саму жизнь. Умирая в ссылке, отец просил това-

рища, собравшегося бежать из гиблого лесоповального места, найти жену и передать наказ, чтобы она спасла детей, бежала бы с ними.

Даже подумать страшно, как это сделать, когда на дорогах вылавливали беглых и возвращали в лагерь, иных отправляли в тюрьму. Но она решилась. С двумя малыми детьми, со старой и больной свекровью осилила сотни километров таежных и степных километров, тысячи километров рекой и железной дорогой, не имея на это денег. Как смогла? – она поведала в рассказе «И такую жизнь пережили».

Читателю, наверное, любопытно узнать, как она, глубоко малограмотная, могла написать предлагаемый рассказ-быль. У этого события своя история.

Помню, когда мама привела нас с Урала, к ней приходили ее подружки, родственники послушать удивительную историю возвращения домой, откуда никто из наших ссыльных не вернулся. Мама рассказывала, они слушали и плакали. «Об этом книгу написать бы» – говорили они, безнадежно вздыхая. «Надо бы. Да писать я не умею» – отвечала она. Но мысль была заронена в душу и сердце.

Однажды, это было уже после Великой Отечественной войны, когда меня призвали на службу в армию, в хуторе появился молодой человек из Ростова, собирающий казачьи песни и фольклор. Женщины направили его к маме, которая и песен старинных много знает, и о судьбе своей поведать может.

Пришел парень, послушал песни, записал и сказал, чтобы она написала о своей жизни, а он, мол, придет следующим летом. Написала, как могла и тетрадку положила за божницу. Парня того так и не дождалась.

Эту тетрадку она показала мне, когда я отслужил. Писанина была беспомощная, но сама идея оставить для внуков и правнуков память о жизни предков показалась нужной. И я, к тому времени искушенный журналистикой, пообещал помочь ей довести до ума начатое дело. Но не раньше, чем закончу институт. После института я обещал забрать ее в город. Такая перспектива ее не очень обрадовала: шесть лет я в армии – она одна, теперь опять одна, пока не закончу институт. Одна и одна.

Избушка наша, которую мы сложили из камня, стояла на окраине хутора. В ней и терпела она свое одиночество. Рассказывала она: "Бывало по весне разольется вода по леваде, отрежет от хутора и неделями я не вижу людей. А зимой и того хуже – снега непролазные. Ни ко мне людям, ни я к ним. Боялась разговаривать разучусь. Так я разговаривала с коровой "Зорькой", с овечками, с собакой. Потом придумала: выпишу газету районную. Не дорогая, а все таки почтальонша два раза в неделю приходить будет. И приходила: то письмецо от тебя, то газету принесет. Посидим, чаю попьем, погутарим. От нее я и новости все поузнаю. А потом ночь. Зимой ночи длинные. Куда спать столько. Зажгу коптилочку сальную, достану тетрадочку, повспоминаю, как ты советовал. Иной раз до рассвета помузюкаю. Писать оказалось дело затяжное – днем хожу и все думаю: про то забыла написать, про это. Ну да понятно – не мое это дело, а поди ж ты пройдет время, снова сажусь".

В моем архиве собралось таких тетрадей и отдельных листов с десяток. Все я их перечитал. Все они похожи одна на другую. Отобрал лучшую, повыписал в нее места нужные из других тетрадей и получилось из малограмотной писанины нечто интересное, пригодное не только для внуков и правнуков её, но и для современных молодых матерей, для тех, кто испугавшись трудностей оставляют новорожденных в роддомах, подбрасывают другим людям. Рассказ "И такую жизнь пережили" это по сути исповедь многострадальной матери, совершившей подвиг во имя спасения жизни детей. Ее жизнь это пример для подражания слабым духом матерей.

Мария Георгиевна Терехова (Панкратова) родилась в 1905 году в хуторе Андреяновка Алексеевского р-на Волгоградской области. Она прожила большую жизнь: на ее памяти прошла жизнь разных российских эпох, окрашенных возможными и невозможными бедами: после войны с Японией вскоре война с Германией, за ней война гражданская, – а с ними разруха, эпидемии; потом НЭП и колхозное строительство и все эти годы репрессии; война Великая Отечественная, снова разруха, жизнь в одиночестве. А мечтала жить при сыне, нянчить внуков. Последнее желание сбылось – Бог сподобил даже правнуков попестовать.

Родившейся при капитализме, на ее долю выпало видеть крах социализма, появилась возможность получить реабилитацию, пожить уже в новом качестве, невинно пострадавшей от политических репрессий. Но она отказалась от предложенной ей реабилитации. Не захотела будоражить полученный на сердце ожог. Ей сказали, что будет компенсация за потери в 30-х годах. Не поверила, что потомки большевиков, продолжавшие дело своих отцов и дедов способны на благородные порывы во имя лучшей жизни простолюдинов. Перевертыш, сколько не повернется, лицом оказывается к личной наживе. "Пусть они подавятся своей компенсацией, – сказала она печально. – Мне и без реабилитации при сыне живется хорошо".

Исполать тебе, многострадальная мать! Потомки твои помнят тебя.

Николай Терехов

И ТАКУЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕЖИЛИ

Про дедов

Сначала напишу про дедов моих, а про твоих, значит, прадедов Павла Константиновича Панкратова и Ивана Ивановича Самойлова. Дедушка Павел жил в Андреяновке, а Иван в Ежовке. Помню их хорошо, особенно дедушку Павла. Он меня очень любил и жалел. Я его тоже. Высокий, статный и красивый он служил в гусарском полку. Службу свою любил всегда. Бывало по большим праздникам, или гостям дорогим ради, одевался во все гусарское, с шашкой на боку, ходил по дому и вспоминал про службу. У него был красивый голос. Слушать его даже про страшные дела на войне с турками да поляками было всегда интересно. А рассказывал он нам, детям, потому что взрослые все уже знали, а мы сидели с открытыми ртами, каждое слово схватывали.

– Я что, вот дед Константин, – вспоминал своего отца – Герой был. В Польше это было. Послали его с товарищами в разведку. Вот едут они и нарвались на передовой отряд поляков числом большим, чем наш отряд. Завязалась рубка. Сбил поляк деда. И была бы ему гибель, да дед оказался и ловчее и хитрее – поднырнул под коня, когда поляк хотел его срубить и приподнял коня с поляком вместе, и перевернул их на землю. Тут поляка наши и повязали. Повязали и сдали лично командующему казачьим полком Ивану Ивановичу Краснову. Он потом лично вручил вашему деду шашку с надписью «За храбрость...»*

Мы про эту шашку знали – она висела на ковре настенном.

Дед Павло красиво пел. Бывало с дядей Василием, сыном его, в застольном подпитии как запоют – заслушаешься. А пели все песни старинные про жизнь казачью. Сейчас таким, голосом владеет Поликарп, сын Василия. Он живет в Батуме, и поет там, в хо-

---

* Эту семейную реликвию Панкратовых в шестидесятых годах, во время ремонта дома обнаружил Яков Гвоздев под стрехой. Он употребил ее на кухонные ножи. (Прим. Н. Терехова)

ре православной церкви. Как попал он туда? Родители его от раскулачки бежали в горную страну. Тем и спаслись.

Так вот про деда Павла. Любил он меня и баловал больше всех – едет бывало в церковь – берет с собой , на базар или на ярмарку – тоже берет. И все конфеты, да пряники мне доставались в первую очередь. Как было не любить такого дедушку.

Один раз я сильно перед ним оконфузилась. Поехали мы с ним в Ежовку к вечерней. Помолились и дедушка решил завернуть к деду Ивану в гости. И так нагостился, что в тарантас его пришлось нести и укладывать.

Поехали домой в ночь, а ночь темная, тарантас был маленький. Конь, Карабан старый, шел вроде бы тихо. Вот едем, я обернулась, а дедушки нет в тарантасе. Я начала шуметь, звать его. Нету. Хотела заорать, но стало страшно. Конь тихо шел по дороге. Возжи запутались в колесах. Но Карабан все-таки привез меня домой прямо к воротам и остановился. Увидела я: ворота – наши, стала кричать «Мама! Папа!» сама сижу не слезаю, боюсь. Вышел отец:

– А дедушка где? – спрашивает.

– А я его потеряла – говорю. – Где, не знаю.

Что делать. Взяли фонарь и поехали искать. Нашли в ежовских Дурных лощинах.

Помню, как бывало, сядем за стол так надо мной смеялись:

– Ну как доездилась, потеряла дедушку. Больше он тебя не будет брать с собой.

Я реву от обиды.

Дедушка, однако, брал меня везде, он говорил, что Маня не виновата, а виноват он сам, старая кочерыжка.

А теперь про Ивана Ивановича. Совсем другой человек. Павел Константинович жил и вел хозяйство как по расписанию. – все дела в свое время. Он такую пословицу любил повторять: «Грибы во время рвут, а без времени ими жопу трут». Иван Иваныч же легко жил – хозяйством себя не обременял. На базу имел корову, да свинью, да овец малость. И то за ними ходила бабушка Настя, да дочь Акулина (мама моя), а он щеголял, всегда праздновал: читал газетки, журналы. Он их специально проезжим купцам заказывал. Любил возиться с именитыми людьми, да с купцами видеться.

Знал больше всех новости местные и столичные, про жизнь писателей и артистов, про ученых, про небесный камень, что упал

между Андреяновкой и Рябовкой, и на месте падения образовалось Потайное озеро, а в Ежовке от удара земля у речки содрогнулась, сползла и получились Дурные лощины. Все знал Иван Иванович, да не знал, как Насте достается молоко коровье – он-то сено не косил, не знал, как сажается и убирается с огорода урожай.

Быть бы Акулине вечно в девках – ибо в зятья к Ивановичу не всяк пошел бы. А вот Павел Константинович разглядел в девке пчелку – труженицу и взял ее в снохи за Георгия. И была у них счастливая жизнь.

Наверное тебе, Коля, интересно будет узнать еще про одного деда Ивана Назаровича, брата двоюродного Ивана Ивановича, у которого однажды украли дочку Анюту. Жили они в Слащевской станице возле Хопра. Вот бабушка пошла на Хопер полоскать белье. Анюта увязалась за ней. Все переполоскала «Ну, Анюта, пошли домой» Сказала, а оглянуться не догадалась. Пришла домой. Кинулась, а ее нету. Стали искать – туда-сюда, нету. Пошли на Хопер – нету. Подняли тревогу. В каждой проруби крючками шарили. Нету. Решили – утонула, ушла под лед. И двенадцать лет плакали о ней, вспоминая.

А получилось так:

Анюта шла по дороге, а ей навстречу ехал купец. Видит девочка без присмотра. Остановился. Дал ей конфет, взял в полы тулупа и увез. Никто этого не видел. Нашли Анюту в станице Глазуновской через двенадцать лет.

Где она находится, рассказал ворожей. Даже подсказал, на какой улице. Пришли по адресу, а купец не признается, мол, не ваша девочка, не докажете.

– Так у нее на спине родинка, – сказал Иван Назарович и попросил показать. Посмотрели. Хотя родинка и была сведена, а место от нее осталось. Тогда купцу пришлось признаться. И стал он просить, чтобы Анюту оставили ему. Дедушка согласился. Купец выдворил Анюту*. И она с мужем потом часто приезжали к отцу и матери в гости.

Анюта прожила дольше 90 лет. И я, уже сама старая, ездила к ней в Букановское заготзерно, она там жила. Была еще резвая, насобирала ежевики и сварила для всех нас ведро варенья.

---

* Выдворить девку – отдать замуж в другой двор (донское).

Теперь, Коля, могу добавить про твоих дедов. Твои деды: дед Георгий и дед Агап Яковлевич. Они были чернорабочими. Дед Георгий* совсем неграмотный. Занимался хлебопашеством. Хотя их деды и прадеды водили лошадей для армии. Много их было.

Раньше было так – есть в семье отец и живет хоть до ста лет – сыны не хозяева – будь их хоть пять сынов. Если чего продать или купить – сажают отца на повозку и едут на базар. Он следит, чтобы сыны ни копейки не утаили, и сам не даст, все кладет в сумку.

Жизнь была в семье строгая. Вечерами никого никуда не пускали – ни женатых, ни холостых, ни ребят, ни девок. Но вот просватали подружку и тогда к ней можно пойти. Невеста собирает подруг, идут к отцу, к матери другой подруги, просят: «Дядя, отпустите (скажем) Машку ко мне на вечер или на запой». Да не раз попросят. И так в каждом дворе. Пока замуж выйдет, так находятся, напросятся. А ребята сами у отца с матерью отпрашиваются: «Батя, мы пойдем на запой к Машке». Если скажут родители иди, то пойдет. Это какие отец и мать. Иные скажут: «Вон ложись спать». Вот тебе запой и вечеринка. Что поделаешь. Надо ложиться спать. А если что поперек слова отцу скажет, то ремня получит сын, а девка цапельника**. И все равно не пойдешь.

Коля, это правда. Нас мать тоже лупила цапельником. Иногда била на улице – заиграешься, да и забудешь про дом, припозднишься и получишь. Вот так и жили.

Когда отец умрет, то хозяйство передается матери, если она захочет вести хозяйство, а не захочет мать, хозяином становится старший сын. И тогда все братья и их жены ему покоряются, как раньше отцу, какая бы семья не была – большая или маленькая.

У нашего деда все было проще. Он ничего не замыкал, все продукты были доступны. Когда дедушка умер, хозяйствовать стал наш отец, Георгий. У него тоже все было открыто.

Хозяйство было большое: всякого рогатого скота под пятьдесят голов, волов 2, была молотилка, самовязка, да простая косилка, хлебом засыпали пять амбаров, да и того было мало. Это я хорошо помню. Нанимались косить и молотить по дворам.

---

* По неграмотности в хуторе Георгия Павловича называли Егором. Так называет его и мама (Н.Т.)

** ухват для сковородки

Помню, как дед Павел лупил моего отца, а твоего, значит деда Георгия, и деда Василия шишкатым (суковатым) костылем в конюшне. Бил за то, что они после молотьбы выпили. Их угостили хозяева. Еще за то, что подрядились еще на один двор, его отца, не просясь. Изредка и снохам доставалось того костыля, а нам, малышам, кнута попадало.

Работали как быки. Об этом и о том, как жилось в снохах, мне бабушка рассказала. Что непонятно, напиши. А в каких годах это было, определяй сам. Деду Георгию теперь было бы 82 года.

Раскулачка

В 1923 году я уже была в семье Тереховых. Сначала нас было трое: мать, отец твой и я. В хозяйстве имелось: один бык, две коровы и куры. Потом мы нажили две пары бычат и лошадь. С этим хозяйством и жили до колхозов. Колхозы начинались так: всех позвали на собрание. Объяснили: кто не вступит добровольно в колхоз, тех будут высылать. Сначала все молчали. Потом стали выступать: Гвоздев, Черноиваненков Степан, Кирсанов Митя, Седов Петя, Володин Серега, Шилов Митя. Они сказали, что будут вступать и начали писать заявления. Написали и мы. Всех сразу и приняли в колхоз. А на второй день повели все в колхоз – быков, лошадей, оттащили всю технику. Начали работать.

Работаем год, второй, оба куда ни пошлют, а на нас глядят косо. Начали облагать какими-то налогами, недоимками. Отец был терпеливый, или он боялся высылки, тянулся в ниточку, все выплачивал, чего бы не потребовали. Но не откупился! Вывезли Гуреевых. Очередь за нами. Стала просить Федю:

– Давай продадим дом и уедем в Калач (воронежский).

Но было уже поздно. Позвали его в правление.

– Нам нужен дом под детскую площадку – говорит председатель Степан Черноиваненков.

– А мы куда? – спрашивает отец. – У нас тоже дети.

– Вы переходите в низы (подвал).

Ладно – хочешь, не хочешь – перешли в низы. Лето живем. А сами день и ночь работаем. День в поле, а в ночь на работу ударную снова.

Подошла зима. Опять за нас взялись. Из низов гонят. Идите, куда хотите. К тому времени всех в хуторе уже поделили на три группы: кулаки, середняки и бедняки. Мы были в зажиточных середняках. Куда нам деваться? Перешли к маме. (Акулине Ивановне Панкратовой).

Коров у нас отняли и роздали беднякам. Одну Ивану Поклонскому, другую бабке Анюточке (Меркулова).

Перезимовали. Весной, как раз на Пасху, пришло распоряжение возвернуть нам дом и все хозяйство. Не утвердили высылку. И мы опять перешли в дом. Пошли за коровами: Поклонский молча отдал корову. Анютка не отдает. Чем я, мол, буду стариков кормить. Но право на нашей стороне: сналыгали корову и повели. Коля! Ты наверное помнишь это: мы с отцом ведем, а ты и Леня (Алексей) хворостинами подгоняете и шумите от радости:

– Папа, отобрали своих коров и теляточек!

– Наши, наши коровы, но вы молчите – уговаривает вас отец.

Проработали еще лето и половину зимы. Одну корову продали, чтобы заплатить опять какие-то недоимки. Мало, а платить больше нечем.

Степан Черноиваненков собирает бедняков, чтобы решить что делать с нами. Выступил Матвей Ильич Черноиваненков, он сказал:

– А что разговаривать с такими людями? Отец Федора атаманом был. Он не разрешал нам кучки навозные около двора складывать.

– Да надо проучить его за разбитые носы, – это сказал Шилов. Он мстил отцу за то, что когда-то еще школьниками подрались и отец разбил ему нос.

– Да, таких людей надо убирать, – поддержал Шилова Серега Володин.

И решили нас выселить. Потом и Герасима Самойлова вместе с нами. Пришел отец с собрания. Успел рассказать, кто что говорил, а повечереть не успел – явились исполнители, забрали его и повели в сельсовет, в Ежовку. А там уже полон сельсовет арестованных из разных хуторов: Ежовские, Гремячинские, Рябовские и наши Андреяновские.

А на вторую ночь за нами приехали. Стали мы собираться, а Алеша спрашивает:

– Мама, а чего вы трясетесь?

Глупые еще, но догадывались, на печи в самый угол забрались от страху и укрылись. Спасались. Не спаслись. Было это в 1933 году. Как раз в эту пору люди к празднику готовились, а мы к горю.

И вот мы всю ночь собирались. Забирали у нас не все. Ковры, что я соткала, забрали, а постель оставили и одежду. Я на себя два пальто надела, бабушка и вы тоже. Сидим, ждем.

Раньше нам Надя, младшая сестра, сказала, что нас заберут ночью, а провожать нас даже родным запретили. Она знала, потому что работала в правлении рассыльной. Все было строго. Людям запрещали с нами разговаривать, здравствоваться.

Вот мы сидим, ждем и горько плачем. А вы, дети, спрашиваете, куда мы поедем. Бабушка Хрестиния говорит:

– Да куда повезут.

Вот слышим, собаки забрехали. Я вышла из дома. По хутору фонари мелькают. Наконец наши собаки брех подняли. Всё, едут. Слышим, во двор заехали. Идут в дом: Серега Володин, Яша Гвоздев, Митя Шилов.

– Ну, что? Собрались? Кто вам сказал, что надо собираться? Знаете ли свою вину? – спрашивают.

Мы молчим. Степа Черноиваненков приказывает:

– Выходите.

Мы взрослые заплакали, вы дети, в свою очередь заорали: Володин приказал:

– Замолчите! Что за рев!

Иван Моргунов подогнал к порогу сани. Я стала выносить постель: перину, подушки. Мне, как снохе, это взять разрешали. В перину завернула вас. И повезли нас тоже в сельсовет, где собрали всех кулаков, подкулачников, Ежовских, Гремяченских, Рябовских, Андреяновских, Политовских. Из сельсовета выпустили к своим семьям арестованных.

Подходит отец. Заплакал, и мы опять заплакали. И повезли нас в район, в Нехаевскую станицу. Ехали спешили. У Ивана Моргунова конь упал и издох. Нас пересадили на другую подводу. Повезли в Урюпинск. Везут день и ночь. Опять без остановки. В Урюпинске загнали в церковь. Набили как камсы в кадушку. Стоим все стеной, нельзя ворохнуться. Жара, дышать нечем, дети подняли крик. Кому писать, кому какать. А нам всем хоть стоя все делай. Двоих грудничков совсем задушили. Одного – Ежовской

Татьяны Аполонычевой, а второго дитя не знаю откуда. Тут женщины как подняли шум, гвалт, крик, ругня. Мужчины тоже восстали, и к милиционеру – давай наводи порядок. Милиции было человек пятнадцать, что наш обоз сопровождали. Забегали. Стали разделять нас: выпустили мужчин и под стражу, повели в другое здание и мы немного дыхнули свежего воздуха.

А на утро всех снова на подводы погрузили и повезли на станцию. Набили нас полные вагоны. Вагоны скотские, окна натемно закрыты, чтобы люди не видали куда везут, по какой дороге. Но люди тоже не спали: как где остановка, стараются найти щелочку, чтобы увидеть название станции и записывают. Вот привезли нас в Казань. Дали отдых. Еды нет и не спрашивай. Начали водить в баню по несколько человек. Перекупали всех и повезли уже до места, без остановки до станции Соликамск. Выгрузили всех в одну кучу на плац, багаж тоже в одну. Местные кинулись хватать кто чего может. Наши мужчины видят, что все забирают, рванулись к багажу, так что и милиция не удержала. Кое что удалось взять своего.

Места отдаленные

Здесь нас уже ждали. Подвод столько, что не видать конца и края. Погрузили на поводы и повезли по деревням, кого куда. Нас привезли сначала в Чердынь, а потом в деревню Покчу, что на реке Колва. Сдали коменданту, а потом стали развозить по квартирам. И так живем день, два, третий день, никто к нам не приходит. А есть нечего. На четвертый день переписали у кого какая семья, сколько рабочих рук, сколько иждивенцев.

Потом стали выдавать продукты. На трех иждивенцев мы получали пять килограммов муки, два килограмма рыбы, килограмм крупы, килограмм сахару. Это все на месяц. как хочешь дели и рассчитывай.

Неделю пожили – вызывают всех кто может работать: мужчин, женщин, девушек. Все будут работать. У кого дети малые – оставляют дома. Меня оставили, а отца забрали. Всех рабочих построили и погнали на пристань. И увезли неизвестно куда. Сказали, на работу. Остались мы без отца на чужой стороне – горе нам горькое.

Через неделю забрали и меня на работу. На чердынскую пристань. Это за 7 километров от Покчи. Работа простая – щепки собирали, да картошку в подвале перебирали. Неделя прошла – домой не пускают. А дома все продукты вышли. Я по десятку уносила картошин и набрала ведро. Наконец отпустили. Я испекла штук двадцать. Прихожу домой, а вы с Алешей сидите на лавке и в окно глядите – бабушку ждете. Я вас спросила:

– Вы ныне ели?

Оказалась, что ели вчера, а утром бабушка пошла по людям, может кто кусочек даст. А ее и нету.

– Ну, – говорю, – садитесь, картошку есть.

Вы рады, всю съели. Я начала еще варить: надо же бабушку накормить.

Пришла бабушка, говорит:

– Не дают челдоны. Говорят – вы приехали хорошей жизни искать, а мы тут сами голодаем.

Наш хозяин был бригадиром в рыболовецкой артели. Однажды ему домой привезли полные сани рыбы. Он навыбирал себе крупной, собакам мелкой набросал, а нам ни одной не дал. Жадный челдон. Я пособирала, что не захотели есть собаки, помыла, собрала выброшенные хозяевами картофельные шкурки, сварила суп. Вот нам и ужин и обед. Через месяц присылает отец письмо. Пишет: «Нахожусь на острове, называется Трехсосенный. Работаем на реке. Забыла как называется (р.Вишерка), вяжем плоты. Работа тяжелая, продукты плохие. Я очень ослаб. Нету сил не то чтобы работать, себя носить. Береги ребят, может жив буду на плоту уплыву». Я написала ему ответ, но от него больше не дождалась письма. Подумала – значит умер.

Хозяйка мне говорит.

– У нас есть старуха, ворожейка, Мохнаткой зовут. Сходи – она всю правду расскажет.

Пошла к ней. Старуха как старуха, ничего на мохнатку не похоже. Стала ее просить:

– Бабушка, поворожите.

– Нет, – говорит она, – не могу. – И сказала еще. – ворожить может Мохнатка. Проси его.

– А где он? – спрашиваю.

– Увидишь, – отвечает.

А мне совестно почему-то. Но пересилила себя, стала просить:

– Мохнатка, скажи мне про мужа. Жив он или нет.

Молчит. Я снова прошу, но как звать мужа не говорю. Мохнатка заговорил:

– Ты пришла погадать про мужа Федора Терехова. Я тебе не буду гадать, потому что ты будешь меня ругать и плакать.

– Мне все равно, – говорю. – Скажи правду.

И он сказал.

– Муж твой Федор Терехов умер. Не жди.

Мне стало страшно. Я ведь ему ни про себя, ни про отца ничего не говорила. И как это получилось – я сидела и говорила с бабушкой, а мне отвечал детский голос. Что за чудо. Спросила бабушку:

– А кто это говорит?

Она сказала, что в ней сидит вещун, Мохнатка, и показала под грудями какую-то шишку. Я потрогала рукой, а под шишкой кто-то ворочается как ребенок. Мне страшно, но я спросила:

– Как это у вас получилось?

Она рассказала:

– Были мы с мужем на свадьбе. Муж приревновал меня. Пошли, говорит, домой. Дома он стал меня бить. Бил до тех пор, пока я потеряла сознание. Очнулась в постели, ничего не помню. С тех пор я стала покрикухой. Потом во мне стал кто-то разговаривать. Однажды пришла к нам кума, плачет:

– У нас, кума,– говорит, – быков украли. А он, что во мне, и говорит: «Не плачь. Живые твои быки, найдутся. Они сейчас привязаны в лесу» Даже место назвал. И нашли тех быков. С тех пор я стала гадать.

Поверила гаданию, но Федю ждала. Наступила весна. Пошли на работу. Всех нас, переселенцев, вывели в поле хлеб сеять. Дали нам лопаты. Отмеряли каждому полосы по 7 саженей длины и полторы саженей ширины. Если вскопаем, то по килограмму хлеба получим. Но мы были очень слабы и могли норму выполнить только на четыреста пятьсот граммов. Принесу домой, разделю на четверых, никого не накормлю и сама голодная. А мне завтра снова копать.

Потом копали землю под картошку на старом поле. Копаем и выкапываем прелую картошку. Стали ее собирать, сушить и с мучи-

цей смешивать, пампушки печь. Так и пережили посевную. А один раз мне очень повезло. Это было в Покче, когда мы сажали картошку. Кончили работу, идем домой. Глядим, в конце поля лежат чувалы пустые. Тут сажали картошку заключенные. Они под пустыми чувалами схоронили полный чувал с картошкой. А может быть этот мешок оставила милиция. Нас было четыре женщины. Поделили мы эту картошку поровну и пошли. Идем. Вдруг слышим:

– Стойте!

Остановились. Подходят милиционер.

– Что несете?

– Картошку, – отвечаю я, как старшая.

– Где взяли?

– На поле насобирали – говорю.

– Пойдемте в милицию.

Я говорю, что не пойдем. Он сказал, что будет стрелять.

– Ну и стреляй, – говорю. – Нам все равно помирать с голоду.

– Я приказываю, – начал затвором клацать.

Мы пошли под конвоем. Привел к начальнику милиции. Ну, думаю, теперь всех посажают, дети пропадут. Меня первую вызвали на допрос. Начальник оказался вовсе не злодеем.

– Садись, – говорит. Я села. – Какая неволя заставила собирать картошку?

Я говорю:

– Голод. Мужа забрали. Он в тайге помер. А у меня двое детей и свекровь старая. Я не могу их прокормить.

Поспрашивал, потом велел посидеть, а сам пошел куда-то. Он вернулся с буханкой хлеба и говорит:

– Неси детям. – Велел идти другой улицей, да никому не говорить, что он нас отпустил, вот так по – доброму, да еще и хлеба дал.

В милиции еще раз мне повезло. Не успели уйти, к нам подходит другой милиционер и говорит:

– Нам нужно комнату побелить. Кто из вас пойдет?

Все молчат. Я двоих уговорила. Ведь не за спасибо наверное. Пошли. Нам все дали: глину белую, чем работать, показали, где какие продукты. Разрешили есть кому сколько хочется. Сами ушли. К вечеру работу кончили. Поели: хлебные и рыбные кусочки по карманам рассовали. А вот и они. Посмотрели. Работа им понравилась. Заплатили нам хорошо. Аж по целой буханке дали. То-то вы, дети, были рады.

В гиблых местах

Челдоны люди суровые. Но встречались и добрые. Спасибо им великое – они помогали нам выжить. О них я еще расскажу впереди.

Потом пришло распоряжение – всех переселенцев вывезти и поселить в бараках. Опять погрузили нас на подводы, опять на пристань. Привезли по Колве, за реку Вишеру в темный лес. В бараках пусто. Даже нар нет. Свалили на землю, а на ней даже травы нет. Сидим как цыгане, плачем, потому что поняли: привезли нас сюда умирать. Есть нечего. Кто-то сказал, что в лесу грибы есть. Взяли утром мешки, пошли искать. Люди по-многу насобирали, а я ничего почти не нашла. Обидно было. Но мне люди еще немного дали. Начали варить.Наелись. Они правда вкусные. Кто много поел к вечеру стали за животы хвататься, заорали, полезли кто куда. Утром врачи приехали, проверили. А те грибы мухоморы были. Кое-кого спасли, а многие поумирали. Мы тоже болели.

После похорон нас повели на работу – лес пилили, дрова кололи. Нормы большие. Больше трехсот граммов заработать было невозможно.

Мужчины начали умирать – пять-шесть человек каждые сутки. Мы стали могилы копать. Выкопаешь одну – шестьсот граммов хлеба получишь. Молодые стали убегать. Их ловили патрули. Редко кому удавалось сбежать. А что делать нам, с детьми?

Как-то вечером подошли ко мне двое мужчин. Спрашивают: «Пойдешь с нами на охоту? Может, чего найдем. У тебя же дети». Я согласилась. Взяла соли, ведра. В ночь мы пошли в лес. Мужчины поставили меня в елях – стой, мол, нас жди. А сами в кусты. Стою. Ночь месячная. Вижу бежит косяк лошадей. Охотники затаились. Когда косяк приблизился, кто-то изловчился и чем-то тяжелым ударил лошадь по голове. Она взвилась и упала. Побежали к ней мужчины, нож в горло, зарезали. Тут же начали резать на куски. Нарезали. Полное, ведро – «на, вари». Пока я варила, они всю ее в мешки сложили, кто сколько унесет. И мне дали. Вареную конину я попросила разделить. Они не против. Съела я кусочек – остальное для семьи оставила. И пошли в бараки. А так как в бараки добычу нести нельзя – свои же могут нас предать, – мы это все попрятали недалеко в лесу.

Вернулись в бараки, когда начало развидняться и все уже просыпались. Вы все тоже встали. Забрала я вас, повела в лес, как волчица волчат, и всех накормила мясом. Потом пошла к коменданту. Отпросилась пойти в деревню за подаянием. Он отпустил. А я взяла соли, нож, порезала конину на куски, разделила на три сумки, в барак перетаскала. Стали есть понемногу и ожили. Тут я и решила уходить. Притворилась совсем больной, перестала на работу ходить. Продала два пальто, какие смогла на себе увезти во время раскулачки, подушки, перину и еще кое что купили люди из деревни.

А как выдали получку – напекла пампушек на дорогу. Легли спать перед дорогой. И приснился мне старичок белый-белый и во всем белом. Я сказала ему, что хочу бежать, а он велел подождать. Свекровь тоже сказала – подождать. На другой день пошла к коменданту просить разрешения сходить по деревням кое-что продать или поменять. Сказала, что плохо моим детям, стали пухнуть от голода, и я, и свекровь тоже. Я не придумала, так было. Он разрешил и даже дал справку, чтобы нас не задержали в первой же деревне.

Побег

И приснился мне в эту ночь ещё удивительный сон. Иду я, вроде, между бараками и слышу красивый слаженный хор. Вроде бы церковный. А слышится из под земли. «Господи, помилуй! Господи!» – слышу слова – «Долгое лето! Долгое лето!». Испугалась я и проснулась. Лежу, думаю – к чему бы это? А потом ровно током стукнуло: это знак нам дан Богом. В пути будет нам благополучие, помилование, чего же я лежу!! Надо вставать. Встала. Побудила всех. Вы уже знали, зачем. Поднялись, тихо вышли. Было темно. Но дорогу до первой деревни я знала хорошо.

Разделились – свекровь с Алешей на отдальке, но чтобы я их видела, идут. Это моя хитрость – вроде мы не одна семья. Я с тобой.

До деревни семь километров. Сил нету, то и дело отдыхаем – до деревни дошли только к вечеру. Где ночевать? В деревню нельзя – челдоны наверное какие-то блага имели за поимку беглых – выдавали. Как только солнце село, мы ушли дальше в лес. Раньше я около деревни видала гумно. А на нем клуня. В сумерках я ее нашла. Зашли. Перекусили. Там была солома – легли на нее спать.

Утром встали рано. Страшно в деревню входить, а кричи – надо. У меня еще остались два платка шелковых – надо продать или на харчи обменять.

Пошли по дворам – свекровь подаяние просит, а я платки предлагаю. Наменяла – сухарей, да буханку хлеба дали, да ведерко малое молока. Первый раз за полгода хорошо поели и рады – живем. И дальше идем. Прошли деревню. В последней хатушке я увидела бабушку. Подошла к ней и попросила указать нам дорогу на пристань. Она сказала как, и что до нее далеко, аж 150 километров. Душа добрая. Эта бабушка – не отпустила сразу. Пригласила в хату пообедать. И опять так хорошо, по-домашнему, мы за полгода пообедали первый раз. Вывела нас бабушка за двор показала, как нам идти. Пошли дальше. Шли мы шли и вдруг тропинка оборвалась – куда дальше? Уставшие сели. Сидим. Отдохнула я и говорю вам: «Мы заблудились. Вы посидите, а я пойду дорогу искать». Ходила я, и нашла. Стала вас звать – не слышу отзыва. Думала вы поснули. Идти искать вас побоялась тропинку снова потерять. Стала громче звать – отозвались и пошли на мой голос. Слава Богу – сошлись. И тут Алеша увидал хатушку той самой бабушки. Пошла снова к ней. И она повела нас по большой дороге. Ведет и рассказывает.

– Никогда не ходите по тропам. Ни зимой, ни летом – заблудитесь. На большой дороге приметы есть – то конский помет, то клочок сена. А сейчас дорога выведет вас к сгоревшему мосту через ерик на болотах. Там остались целыми два бревна. Не бойтесь, переходите по ним. Другой дороги нет. Перейдете, а дальше болота – три километра, еще дальше болота – два километра. Идите по настилу из досок и никуда не сворачивайте. Эта дорога выведет вас к деревне.

Поняла всё я. И вот идем.

Вдруг чую запах. Дымом накидывает. Вот, думаю, не дай бог пожар: куда от него бежать? Впереди послышался шум, голоса. Из тайги выскочили люди с лопатами. Увидали нас подбежали, орут:

– Ходите тут, лес поджигаете! – Над головами лопатами машут. Страшно, ведь челдоны, в злобе и порубят. Я говорю:

– Люди добрые! Да не поджигали мы леса, – вспомнила, что у меня на всякий случай спички спрятаны под щечку ботинка. – У нас и спичек нету, хоть обыщите, – говорю.

– И обыщем, – сказал парень здоровый, как бугай.

Карманы у моего пиджачка повывернули, всю облапали, в мешке порылись, ничего не нашли. И тот, что бугаистый, с досады огрел меня лопатой по спине. Мы заорали с перепугу. Другой парень стукнул Алешу под зад. И ушли. А где-то лес горел.

Иду я и шепчу мною молитву придуманную. А может и не мною. «Спаси нас, Господи, от всякой страсти, от всякой напасти, от злого духа. Спаси…». Ее я шептала, когда выходили из барака. И вот Господь спас нас.

Идти, однако, не можем. Ноги с испугу подкашиваются. Кое-как успокоились, размялись, идем, а свекрови стало совсем плохо: ноги отекли, ложится на землю. Мы с Алешей с трудом подняли ее, повели под руки. Как-никак двигаемся.

То и дело отдыхали. До моста дошли к вечеру. Переход был плохой, опасный через речушку. Правда она и на речушку не похожа: так себе протока с крутыми берегами, но, ведь глубокая, трясинистая, хотя узкая такая, что смогла через нее вещи перекинуть. Перекинула, и, как кошка, полезла. Вы следом, бабушка за вами.

Перебрались на другой берег – дальше идти некуда – ночь наступила. Свернули в мелкий ельник, спрятались. Медведей очень боялись. Но, видать, они нас тоже боялись, не подошли. А утром – горе-горькое: бабушка захворала, глаза опухли, ноги не идут. Как ее вести дальше. Ты тоже плачешь и приговариваешь: «Болят мои ножки по самые коленочки». Сердце мое разрывается. Но не умирать же раньше времени. Взяла тряпки, обшила ими твои ножки. Сварила еду. Позавтракали, надо идти. К обеду дошли до первого болота. Через него две узкие доски лежат. Качаются очень. Идти страшно. Но идти надо. Была у меня в сумке бечевка. Опоясала я вас, детей, ею и себя опоясала – думала: если кто упадет в болото, то тонуть будем все вместе. А на бабушку веревки не хватило. Она все три версты на коленках ползла. На этом помосте были места для отдыха. Дойдем, посидим, отдохнем и дальше, дальше.

До деревни не дошли. Снова в лес на отдых. Мы боялись медведей, а надо было бояться людей. Двое мужчин набрели на нас. Один русский, а другой видать кавказец. Стали меня допрашивать: кто мы, куда идем, что несем. Я рассказала. Они вытряхнули мешок, забрали сухари и всю еду – «Вы, мол, в деревне все достанете, а нам туда нельзя». Кавказец увидал на бабушке гусарки, они

были еще не плохие. Ножом располоснул шнурки, так что ногу порезал, забрал себе. И не осталось у нас ни крошки. В деревню вошли голодные. Бабушка Хрестиния Степановна, царство ей небесное, сказала.

– Я, Маня, дальше не могу идти. Останусь тут в деревне. А вы идите, – стали прощаться, плакать. – Бог даст, увидимся. – И осталась она на дороге около деревни, а мы пошли по улице. В конце деревни у ворот дома старик сидит. Мы к нему. Покажи, мол, дедушка, как нам на пристань попасть. А он говорит:

– Расскажу, милая, но вы до нее не скоро дойдете. Зайдите сначала в дом, там бабушка. Скажи, что я велел вас покормить.

Люди добрые! Как без вас. Не осилили бы мы этот тяжкий путь!

Дедушка сказал, что дальше нам идти опасно: по дороге грабители есть. Заберут последнее. И посоветовал:

Вон видишь большой дом, в нем живет старший в обозе, который сегодня пойдет в Соликамск. Сходи, попроси, может он возьмет вас.

Пошла. Обозник спрашивает:

– А кто ты такая?

– Из Губдора, – говорю.

– Полесовых знаешь? – пытает.

– Нет, – говорю. – Я там мало жила. Муж привез, а его скоро в тюрьму посадили. Вот возвертаюсь домой, к сестре в Казань.

А он:

– Деньги-то есть? – спрашивает.

– А сколько надо?

– Десять рублей, – говорит.

– Наберу.

Поверил, нет ли, не знаю, взять согласился с осторожностью.

– Вы, – сказал, – пока идите по дороге. А мы вас догоним и возьмем по пути.

И правда, не долго шли. Обоз показался. Остановились. Старший на своей подводе впереди. Меня взял: «За сестру будешь». А вас, детей по другим подводам рассадили. Ехали всю ночь. На рассвете высадили около деревни. В трех километрах от пристани Тюлькино. В деревню не пошли. Полежали в кустах, подзоревали немного. Потом набрали воды в болотине. Умылись, ноги помыли.

С пристани уже гудки слышались. На душе тревожно. Пароходы гудят, а мы их сроду не видали.

На пристани народу тьма. Все куда-то едут. Знают куда. А я не знаю. И спросить у кого – не знаю. Прислушиваюсь к разговорам. Слышу про Казань говорят две женщины, похоже из наших. Казань помню. Но через нее мы ехали поездом, а водой куда?

Вижу, милиционер ходит. Он должен знать. Страшно подходить. Но надо. Подошла. Он такой внимательный, вежливый. Спрашиваю, он объясняет.

– Можно, гражданка, пароходом до Казани. А вам дальше куда?

Дальше я хорошо помню – до станции Филоново.

– Тогда берите билет до Казани, а там пересядете на поезд до Филоново. – И спрашивает: не хочу ли я подработать. – Надо картошку прополоть. Это недалеко. Пароход на Казань подойдет только в двенадцать. Успеете. Часа три поработаете. Мы вас покормим и хлеба с собой дадим по полкилограмма.

Ой, как надо подзаработать! У меня в мешке и крошки от сухарей не осталось после того как разбойники нас ограбили. Подошла к женщинам, про каких думала, что они тоже беглые. «Пойдемте, – говорю, – если вам тоже нужен хлеб». Они с радостью согласились. Только вот у меня самой плохо – детей не с кем оставить. У одной женщины мать старенькая. Согласилась посидеть с вами, да сумки мои поберечь.

Хорошо поработали, хорошо покормили нас, и с собой принесла кусочки рыбы и хлеб. А тут и объявление – кому на Казань билеты надо покупать. Скоро придет пароход. Народ кинулся к кассе – не пролезть. Но купила.

Погрузились. Документов у меня кроме той бумажки, что комендант лагеря выписал – никаких. Боялась – станут проверять и высадят снова на берег. Слава Богу – не проверяли. Загудел пароход и мы поплыли. На душе отлегло. Люди вокруг нас, оборванцев, хорошие. Вот одна женщина – вся такая интеллигентная, в красивом платье, в шляпе. Подходит ко мне, спрашивает:

– Твои дети?

– Мои, – говорю, а сама боюсь, к чему это она спрашивает. Она ушла и тут же вернулась.

В руках половина чашки масла постного и половина буханки хлеба. – На, говорит, покорми детей.

А рядом еще такая же несчастная женщина с мальчиком. И им принесла. Боже милостивый! Мир твой не без добрых людей. Слава тебе, Господи!

Четыре дня плывем то один, то другой поделится. И вот большая остановка. Прошел матрос, объявил:

– Кому надо на базар, можете сходить. Четыре часа стоять будем.

Женщины, с какими я уже познакомилась, оказались филоновскими. Пошли на берег. И меня взяли. Может чего по нашим деньгам купим. Ходила, ходила – приценивалась – все дорого. Боялась не хватит на билет до Филоново. Вернулась. А парохода нет. Ушел, и детей моих увез. Как током меня поразило – закружилась, бегаю по пристани, спрашиваю, где пароход, но никто не знает. Увидала милиционера и к нему. Он успокоил:

– Не волнуйся, гражданка. Пароход что на Казань, ушел на заправку. Скоро вернется. И, правда, вернулся. Я зашла, а вы зареванные: «Не бросай нас больше, мамка!». Не брошу больше и на шаг от вас, мои милые сыночки, не отлучусь.

Пятнадцать дней. И вот Казань. Ночь на дворе. Нам приказано освободить пароход. Я прошу оставить нас до утра в пароходе. Матрос говорит, что нельзя, мыть, мол, полы будем. А я ему: «Оставьте, я тоже буду полы мыть». Упросила.

– Ну, если так, оставайтесь!

Господи! Спасибо, добрый человек. Да я за доброту к моим детям не только полы, ноги матросам готова мыть.

Когда сели в поезд, подумала: «Ну, теперь наверное кончились наши страдания, приключения». Однако на одной станции, не помню какой, случилось такое, что и подумать страшно. Там пересадка была. Надо было спешить на другой поезд. Побежали мы, а впереди путь, а на том пути паровоз идет. Ты, Коля, наверное помнишь этот случай. Я остановилась, а ты побежал через рельсы. Слышу люди закричали: «Зарезал! Мальчика зарезал!». Сердце оборвалось во мне. Паровоз засвистел и прошел. Вижу тебя за руку держит какой-то человек. Ой! Горе мне с вами детьми. Сколько пережито. (Да, мама, такое разве забудешь? Какой-то парень выхватил меня прямо из-под колес).

Ну, ладно. Пережили и это. На поезд успели сесть.

Не зря мне все-таки в последнюю лагерную ночь приснился вещий сон. Хор под землей. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Миловал господь. От всякой страсти, от всякой напасти

оберегал. И всю дорогу людей к нам добрых подсылал. Мы ехали без копейки на еду. Люди не дали с голоду помереть. Спасибо им. Век не забуду доброту людскую.

Поезд – не пароход и не заметили, как до Филоново доехали. Вышли, люди людей встречают, радуются. А нас никто не встречает. Да и хорошо. Мы возвращаемся потаясь. И в Андреяновку должны войти, чтобы лишние глаза не видали.

Вот и Андреяновка

В Филоново я как-то была. Знаю – надо дойти до моста через Перевозенку, а там по дороге на выход из станицы. Но скоро опять ночь. На краю станицы попросилась пустить на ночевку. Оказалось у нас, как у челдонов, есть люди вредные. Не пустили. Но нам не привыкать – под плетнем расположились. Взяла я свое ведерко – водицы в одном дворе попросила – не дали, в другом попросила, то же самое. Пошла на Перевозенку, зачерпнула. Принесла. Сама приложилась губами, стала пить. А лягушка меня шлеп по губам. В сумерках не разглядела, как ее выловила. Пошла еще раз. И пили мы ту воду, наверное заразную, но Бог был с нами, никто животом даже не маялся.

Утром, как всегда рано, в дорогу. И хорошо, что вы, дети мои, привыкли к такой жизни, не капризничали, ничего не требовали. Знали – еды нету, просить бесполезно. Знали и другое – если кто подаст нам – сама не съем, на всех поровну разделю. Я на людей, которые не подавали, не обижалась – они тоже все жили в бедности, и челдоны разве отказали бы нищенке, детям ее, будь у них что-либо лишнее. Плохо жили, ой как плохо – вспоминать даже страшно. И даже удивительно, когда подавали. А подавали, начиная по всем хуторам, все что можно: а нам все не лишнее: по картошине на каждого – и то уже суп – похлебать, огурцы в волю, а вишня по горстке – радость вам. Помню как у одного плетня вы мечтали:

– Вот придем домой, с вишни клею наедимся.

Милые мои детки – не о конфетах мечтали, про них вы уже и забыли, а о клее, как о самой доступной сладости, за какую платить не надо.

Когда вышли из станицы Новоанненской, перед нами открылся простор – небо без края, степь без конца. Не птицы мы, а то раз-

бежались бы и полетели. Вам, детям, уже привыкшим к тайге, это показалось страшным. Там, в тайге не разбежишься, не распустишь крылья – сразу в ветвях еловых да сосновых запутаешься. Но там, как-то все конкретно, все рядом – путь делился на отрезки: от сосны до сосны, от деревни до деревни, от болота до другого – все казалось и далеко, и рядом. А у нас – вроде горизонт и рядом, но идешь, идешь, а он вроде бы как приманивает, а сам отступает, отступает. Ты, Коля, помню спрашиваешь:

– А много еще нам велст идти?

– Ходоки мы плохие, – объясняю – по-хорошему бы за три дня могли бы дойти, по нашим силам, Бог даст, за неделю дойдем.

Чую, понимают мои мужчины – увеличивают расстояния между отдыхами, сокращают время на отдых – все идем, все идем и идем. Ночуем, то в копнах сена, то в старых скирдах соломы, иногда у дворов. На родине не так страшно – медведей нету, волки летом не тронут. Днем сладко на душе – птичьи голоса вокруг. Милая моя Родина – как встретишь ты нас? Какую жизнь уготовишь своим несчастным изгнанникам? Да примешь ли ты нас вообще? Тревожно. Но мы все идем, все идем. Дети чуют приближение, глаза у них, лица размягчились, чаще улыбка на них стала появляться.

Шли мы шли и пришли

А вот и Рябовские пруды – до хутора осталось семь километров. Солнце еще высоко. Надо подгадать приход к вечеру. Остановились, сбросили с себя всю одежду и в прохладную воду – полгода прошло как мы не купались, даже больше. Потом глянула в рубашки, а там ужас такие вши, сплошные, комками, кипят как пчелы. Нарвали полыни и давай их сметать, да в костер их стряхивать. Они, паразиты, как семечки трещат на углях. Бросила рубашки в воду – а вши как мусор расплываются в разные стороны. Простирнула, что могла, высушила на солнышке да на ветру, еще встряхнула для верности. Знаю, что этим от них не избавишься – их, паразитов, варить надо. Но что делать, надели – помогло – меньше стали кусать. Видно хорошо мы им бока набили.

Идем. Вот и балка Свистюлькина. Ее так назвали потому что в ней до двадцатых голодных годов сурки-свистуны жили. Их потом

всех переловили и поели. В балке мы с Федей когда-то косили траву на сено. Вижу, кто-то косит и сейчас. Обошли косаря стороной. Вот жизнь! – на Урале боялись встречаться с челдонами, дома со своими людьми. Там могли задержать и сдать властям, тут нельзя раньше времени на глаза людям показываться, – кто знает, что нас ждет дома.

Перевалили бугор, другой – дома в Хуторках завиднелись. Входить рано, и радостно, и страшно. Ноги подламываются.

– Давайте передохнем – говорю детям. – надо с духом собраться.

Сидим. А думки – одна страшнее другой. Вот придем к Вере Агаповне, а Иван Васильевич, муж ее скажет, мы вас не ждали. Он такой, может сказать.

Куда потом? К сестрам? А там вражина Смолян. Это муж моей сестры Дуни. И глазом не моргнет – сдаст нас.

И все-таки сначала к Вере Агаповне. Будь что будет. Спускаемся с бугра. Вот и дом завиднелся. На крыльце двое. Догадываюсь – Вера с Дусей. Дуся ее дочь, моя племянница. На нас глядят. Угадывают – что за люди к их огороду спускаются. Дуся угадала. Подбежала, взяла тебя, Коля, на руки, целует, плачет. Вот и кума Вера. Обнялись, со слезами.

– А где же мама? – спрашивает она в тревоге.

– Оставила на Урале, – говорю как виноватая.

– А Федя где?

– Федя помер.

– Ну, заходи во двор.

Из хаты вышел Иван Васильевич.

– Здравствуй, кума. Пришла?

– Здравствуй, кум. Привела вот…

По глазам не пойму: ни радости в них, ни досады. В голосе вроде бы зла нету.

– Ну, заходи в дом, – приглашает.

– Нет, кум, нам нельзя в дом – у нас вши.

Дуся вынесла табуретки – чего стоять-то.

– Вынеси бак, – говорит отцу. – Надо воды вскипятить.

Принесла таганок. Посреди двора развели костер. В бак воды налили и всю нашу одежду в бак притопили – варитесь, гады. Кума Вера вынесла кувшин молока, хлеба.

– Подужинайте на скорую руку, – говорит. – Хлеб у нас не настоящий – Ваня желуди в Грушевом собирает, сушит, толкет. В отруби толченые подбавляем.

Дети и не заметили, что хлеб ненастоящий. Они и не такое ели. Кум Иван остриг ребячьи головы, а для меня керосин принес, чтобы им волосы смочить. И уж потом, когда переоделись во все взрослое, а я в платья Веры и Дуси, мы смогли войти в дом.

А в доме – бог ты мой, пахнет чем-то таким вкусным…

– Чем это так пахнет, кума?

– Сейчас увидишь, – сказала она и выкатила из печи большой чугун. А в нем, в чугуне доверху набито суслиных тушек, на жару томленых в собственном жире. Коричневые, аппетитные.

Кума наполнила ими большую чашку, наломала кусочками:

– Ешьте. Вкусные.

Меня чуть не стошнило, и я отказалась. А вы, дети, ели аж за ушами трещало.

– Они, многих спасли от голодной смерти – сказала Вера Агаповна. – Люди едят все: крапиву, лебеду, конский щавель – этой травы уже и не найдешь. Побили всех гулюшек, грачей почти перевели. Как зимовать будем – Бог знает.

Повечеряли, вы попадали и поснули, а мы сидели всю ночь. Я рассказывала про наше житье-бытье на Урале, как забрали от нас отца, как шли и бабушку потеряли. Наплакались через глаза. Даже Иван Васильевич не выдерживал.

Утром Дуся пошла к нашим. Под вечер пришли Настя и Маня Маленькая, сестры мои забрали нас. И жили мы дома никому на глаза не показывались. Да разве можно было жить потаясь. Через два дня слух по хутору пролетел. Федор Гвоздев рассказывал новость про нас. А случилось так: вы пошли с Лешей в сад. Только вышли на огород, а тут Федя Гвоздев. Увидал вас и рассказывает всем:

– Иду я мимо огорода Панкратовых и вижу, детишки Тереховы. Увидали меня и как перепелята в тыквенную ботву попадали, схоронились.

Больше хорониться смысла не было. Хуже будет, если придут искать. Надо идти в сельсовет, объявляться. А там новый председатель. Степу Черноиваненкова в Нехаевский район перевели. Нового я не знала.

На четвертый день пришла. Там были Заруднев, что главным был в совете по выселению. Он ежовский, а новый председатель

откуда не знаю. Заруднев увидел меня и, кажется, испугался, побледнел.

– Ты откуда взялась? – спросил.

– Оттуда, где была, – говорю.

Сельский председатель спрашивает его:

– Что это за женщина?

– Выселенка из Андреяновки, – говорит Заруднев.

И начал меня председатель спрашивать, как я вернулась – отпустили или сбежала. Рассказала все как было. К тому времени милиционер явился, все слышал. Вот я думаю и все, сейчас меня арестуют и назад отправят. А председатель спрашивает милиционера:

– Ну, что будем делать?

Тот сказал, что пока не знает. А председатель, вроде бы советует ему:

– Если она правду рассказала, то можно бы и оставить. Только у меня сомнение есть – как она с такими малыми детьми такую даль осилила. Одна, говоришь, пришла?

– Хотите верьте, хотите нет, – но я одна..

– А где жить думаешь?

– Где прикажете.

– В колхоз пойдешь?

– Пойду, и буду работать как все.

Милиционер сказал председателю:

– Тогда пиши ей разрешение жить при колхозе своем и там же работать. А насчет мужа – проследить надо – может, он где скрывается.

Написали справку, печать поставили. Иди, Мария, живи. И пошла я в Андреяновку, не то что счастливая, но спокойная. Теперь скажу ребятам своим: « Не надо хорониться от людей, никто больше не тронет вас. Идите в сад, там есть вишня, клей, о каком в станице Новоаненской мечтали».

Жить-то разрешили, а где? Нету крыши над головой. У сестер? Там одна комната с прихожкой. В другой половине Смолян – видеть его каждый день – лучше в могилу. Он был первый, кто стал выслеживать Федю. Ночами бедняга не спал, под окнами сидел. А еще Петя Седов, сам Гвоздев Яша – всю траву повытоптали в тер-

новых кустах у дома Павла Марковича Самойлова. Мы у него остановились в начале.

Ну, пришла я со справкой к Гвоздеву. Ничего не сказал против меня, лишь велел написать заявление о приеме в колхоз. Написала. Жду собрания. На работу хожу. Работу мне давали почему-то в ночную. А мне и хорошо – поработаю, утром, сосну и по людям работать. Время уже к осени шло, уборка начиналась, людям картошку копала. Они платили кто чем: кто ведро картошки даст, кто свеклы, кто тыквы. Ни от чего не отказывалась – у нас-то в зиму ничего нет. Так и жили. Плохо. Тяжело. Но были люди, какие из вредности характера мне завидовали. «Вот, мол, ни кола ни двора, а в погребе уже все есть. Хоть снова раскулачивай». Танюха Моргунова боялась, что мои дети с ее огорода все таскать будут. Такая у меня на нее обида была, что век буду жить и помнить буду. Как мы таким людям мешали. Даже через десятилетия не могли успокоиться.

Помню, на обеде в годовщину после смерти Ивана Нескоромнова. Его Нюра позвала меня на обед. Сидим. Помянули. Захмелели мужики, откровенничать стали. Вот Митяня Кирсанов стал рассказывать Федору Рязанцеву, как андреяновские казаки притесняли их, мужиков. И рассказал он старую историю как Агап Яковлевич, мой свекр, атаманил в хуторе, и заставлял всех мужиков перетаскивать навозные кучи с улицы на дворовые зады. Федор слушает, поддакивает и хитро ухмыляется. Он сам хоть и мужицкого сословия, но жил справно и едва избежал раскулачки. Когда его отца стали таскать на допросы, Федор сбежал из Андреяновки и спасся. А отца по старости оставили.

А один раз, когда нам разрешили жить в низах дома, а дом в это время разбирали, чтобы перенести в центр хутора для школы, я слышала разговор мужиков, разбиравших дом. Разбирали его Митяня и Нистрат Иванович Морсин. Вот Митяня и говорит Нистрату:

– Этот дом они на моем горбу наживали.

– Как так? – удивился Нистрат.

– А так вот. Агап Терехов, когда атаманил, штрафовал нас за навозные кучи, денежки ты думаешь куда шли?

– В казну, – отвечал Нистрат. – Куда же еще.

– А вот и нет – в свой карман клал он.

– Не бреши, – сказал Нистрат. – У казаков с этим строго было. Если так рассуждать, то я больше тебя в этот дом вложил. Я ихнюю скотину стерег?

– Будя брехать. У них табуна своего не было. Ихние коровы в общественном стаде были.

– Ну и что ж, а стадо стерег-то я?

– Но ты же себе зарабатывал.

– Себе. И ты себе. А говоришь, что им дом наживал. Чего ж не наживал себе?

Поругались мужики. Вообще-то мужики не любили казаков. И когда началось на казаков гонение от советской сласти, они, мужики, очень радовались, и помогали разорять их. Потому в хуторе казаков почти не осталось. Одних: Рощиных, Гуреевых, Тереховых, раскулачили, другие поуехали в разные края.

Осенью, уже под зиму 1934 года, когда закончили с уборкой, состоялось колхозное собрание. Отчитались начальники, потом стали мое заявление обсуждать. Надо ли меня принимать в колхоз. Помню как нас исключали – все проголосовали единогласно за исключение, теперь все проголосовали за принятие. Даже Митяня, Моргуниха ничего против не имели. Оно и понятно – рабочие руки нужны.

Пока выслеживали Федю, с Урала вернулась его мать, моя свекровь, Хрестиния. Плохая она была, от болезней, от тяжелой дороги, от голода. Как добралась – Богу только известно. Шла домой голову перед смертью склонить на родной земле. А оказалось – угла ей не нашлось. Вся надежда была на дочь Веру Агаповну, но зять Иван Васильевич дал ей от ворот поворот. Она ко мне хотела прибиться, а я сама с детьми по людям скитаюсь. Была в воронежском Калаче у нее дочь Екатерина Агаповна. Красавица – в мать, но не в мать непутевая – работать не хотела, чем жила не знаю. Ездила я в Калач как-то и напугалась я, побывав у нее в гостях. В доме какие-то странные мужчины, женщины. Одни в карты играют, водку пьют, другие пьяные спят. А день обычный, рабочий. Мне показалось, что у Кати собирается какая-то шайка опасных людей. И вот к ней к дочери, поехала Хрестиния Степановна. А ей так нужна была спокойная жизнь.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Это печальное, абсолютно точное изречение вытекло из реки Народной Мудрости. А река эта – Жизнь, отмеченная двумя главными вехами – Рождением и Смертью, перед которыми все люди, высокородного и плебейского происхождения, равны – рождаются в муках и в муках умирают. А что касается самой жизни, это уж как ее Высочество Судьба распорядится, быть ей в радость или в тяжкое испытание. Одному она от вехи до вехи проложит путь, уснастив его удачами, другому наоборот. У Марии Георгиевны было и то и это: счастливое детство, после смерти деда и отца – трудное девичество; счастливое замужество и раннее вдовство.

Есть в ее воспоминаниях строки, как она, борясь за спасение жизни детей своих, обрекла себя на долгую жизнь с нелюбимым человеком.

Об этом в продолжении.

Н. Терехов

Как я старалась, вернувшись из ссылки, заработать для себя и детей своих снисхождения властей – ни от какой работы не отказывалась, делала все, что ни потребуют и лишь не могла указать им, где прячется муж. Милиционер Ребриков в каждый приезд вызывал на допрос.

– Твоего мужа видели на днях в тернах. А ты говоришь, что он помер. Предупреждаю, за сокрытие беглого ты после поимки его будешь осуждена по полной строгости закона.

– А кто его видел? – спрашиваю, а сама дрожу от страха за Федю. – А вдруг и правда он живой – Ведь я не видела его мертвым. – Правда, скажите кто его видел?

– Это не важно кто. Видел его человек мне верный.

– А чего же он его не взял?

– Из соображения собственной безопасности.

– Значит, все это брехня, – сказала я.

Ребриков озлился не на шутку. Вышел из-за стола, прошелся туда-сюда по кабинету, остановился напротив, уставился своими белесыми глазами в мои глаза перепуганные (сейчас арестует – мелькнуло в голове) и выдохнул страшные слова:

– Ну вот что, гражданка Терехова, ты мне со своим мужем надоела. Еще неделю-другую потерплю, потом пеняй на себя. Все. Иди. Думай головой, а не...

Что делать мне, у кого защиты искать? Была бы мама. С ней хоть посоветоваться было бы можно. С нею и детей оставить можно, если что со мной случится. Но маму, за то что она наняла на хлебоуборочный сезон Макара Демина механиком на молотилку, посадили в тюрьму на пять лет. Теперь, если меня осудят за побег из лагеря, детей отправят в детский приют. Вот когда я пожалела, что отказалась от такой возможности в Казани. Тогда, в Казани, когда у меня не хватало несколько рублей на железнодорожный билет, я пошла с протянутой рукой. Просила. Чтобы люди дали хоть по копеечке. Один мужчина поглядел на меня, измученную дорогой, на детей, истощенных голодом, жалеючи нас, предложил:

– Давай-ка, мать, мы сделаем так: детей твоих я определю в приют...

Не дослушала я, заторопилась прочь, а он попридержал за руку сказал:

– Подожди. Не спеши, вникни сначала. В нашем приюте им будет хорошо: всегда сыты, учить их будем, профессии получат – гляди и в люди выйдут.

Маленькие мои дети, а поняли, и оба в один голос: «Не отдавай нас, мамка». Уцепились за меня, дрожат. Сердце мое кровью облилось, загорелось в груди.

– Нет, нет, человек добрый, не годится жизнь сиротская при живой матери.

Не стал он настаивать. Достал из кармана кошелек, добавил мне денег, недостающих на билет, а еще на хлеб дал и сказал:

– Я бы, пожалуй, тоже так поступил, – сказал мне, а детям строго пригрозил пальцем – Да смотрите у меня, что бы слушались мамку.

Вспомнила об этом и подумала: сглупила я тогда. Можно же было и не тянуться в Андреяновку, где оказалась ненужной. Устроилась бы где-либо рядом на работу, чтобы детей навещать. Но страх жить без родных и близких гнал меня в пропасть. Теперь вот нету выхода, кроме как петлю на шею и на ветку. Тогда хоть родственники заберут детей на воспитание. Боже милостивый! С такой мыслью, очумелая, как побитая собака, потащилась я в Ежовку, к дяде Борису. Увидал он меня и, наверное, по виду понял, что я с бедой к нему. Обнял, в хату завел.

– Что случилось, Маня?

А меня как прорвало, рыдаю, слова сказать не могу. Усадил он меня за стол, травки какой-то дал выпить и я кое-как успокоилась. И все ему поведала о разговоре с Ребриковым, какой выход из положения надумала. Послушал он меня и сказал так, словно я чем его обидела.

– Я всегда думал, что ты умная, а ты до петли додумалась. Вот это выход из положения. – Чтобы спасти детей, осиротить их решила. С ума спятила.

– Наверное, так и есть, дядя Борис. А ты знаешь этот выход?

– Совершенно точно знаю, что безвыходных положений нету. Есть у меня кое-что на уме.

– Скажи. Я затем и пришла.

– Тебе надо пуститься снова в бега. Оставь недели на две ребят у сестры, а потом я их заберу. И если надо будет, они проживут до того, как освободится Акулина.

– А куда ж я, дядя Борис, побегу? Где меня ждут?

И раскрыл свою думку дядя Борис:

– В станице Казанской живет мой полковой односум. Когда-то я спас его от смерти. Он сказал, что век будет у меня в долгу. Напишу я ему письмо, а ты отнесешь. Вот и пускай он свой долг исполняет.

Слышала я про станицу Казанскую. Она где-то на Дону, повыше Вешек находится. Но там, кажется, кто-то из андреяновских живет. Ненадежный ухорон. Дядя Борис на мое сомнение сказал:

– Мой товарищ найдет тебе такое место, что Ребрикову ума не хватит найти тебя. Да он и искать перестанет. Он, кстати, и берет тебя на испуг, чтобы ты исчезла с глаз долой. Надоела ты ему на самом деле.

– Он так и сказал, надоела.

– Ну, вот видишь… хотя от него можно ждать всякой пакости. У меня, однако, есть еще один выход из положения. Но не знаю, как он тебе подойдет, нет ли.

Я вся напряжена, а он тянет и при этом улыбается – нашел время для улыбок.

Говори же, дядя Борис!

Он такое бухнул, что хоть стой, хоть падай:

– Тебе надо выйти замуж.

– Ты шутишь, дядя Борис, – говорю пришибленно, а он уже серьезно, без улыбки:

– Нет, Маня, не шучу.

– Да кто же меня возьмет с двумя детьми?

– Есть у меня один парень на примете. Не бойся – не урод, не дурак, правда, красотой не взял свое. Но ведь с лица воды не пить. Не казачьего он роду-племени, из хохлов воронежских. Главное его достоинство в твоем положении – он беден, беден как вошь платяная. Такого раскулачить ни у кого рука не подымется. Вот тебе и защита.

Какой-нибудь старец, подумалось мне. Что дети мои скажут, глядя на деда? Может, все-таки лучше податься в бега? Дядя Борис угадывал мои мысли, а может быть знал, что такой вопрос должен быть, пояснил:

– Твой ровесник он.

– Чего ж тогда не женатый?

– А это у него спросишь сама. Так что думай, как тебе лучше, я тоже подумаю, если что – позову.

И ушла я домой не то чтобы благодушной или обнадеженной, но немного успокоенной. Рассказала Мане Маленькой про всё, посмеялись над моим возможным замужеством, как о несбыточном. И стала я готовиться к бегству: собрала узел с кое-каким барахлом, поговорила с детьми, чтобы они не думали, будто я их бросила. Понятливые мои сыночки согласились жить в Ежовке. Однако в одну ночь планы поменялись. Ребриков оказался хитрее и меня и дяди Бориса. Он выследил меня в Ежовке. Всю ночь дежурил около дома дяди Бориса. Чего ради, понятно – думал что я пошла на свидание с Федей. Явился в дом ни свет ни заря. Дядя Борис рассказывал:

– Пришел и учинил допрос, по какому поводу приходила Мария Терехова? Потом велел показать чердак, погреб, сарай. Поблудил по саду – никого и ничего похожего не нашел.

Понял дядя Борис, что дела мои плохи – не дадут убежать. В этот же день нашел жениха и велел ему прийти на смотрины невесты, а за мной прислал дочку Настю. И вот к вечеру нарядилась во все чистенькое и пошла.

Скажу прямо – радости у меня не было. Семен круглолицый, маленькая головка – уши торчком, большие залысины, волосы редкие, так что видна была кожа на голове, глаза серые и узкие, словно спросонья. А нос, я более курносого мужчину не встречала. Да он и на мужчину не был похож, так крепко сбитый подросток. И очень уж сильно молчаливый. Спросят его о чем либо, ответит. Все глядит, глядит на меня.

Посидели. Поговорили, про женитьбу ни слова. Пошел он меня провожать. Идем, молчит.

– Чего молчишь? – спрашиваю.

– А о чем говорить? – отвечает.

– Про себя что-нибудь расскажи.

– Моя жизнь неинтересная. Я же из бродяг.

– Из тех, что Байкал переехал? – пошутила.

– Не, я бродяга с малых лет.

Слава Богу, разговорила. Жизнь его оказалась, не приведи Господь, какая тяжелая. Семья большая аж в двенадцать человек. Как отцу с матерью прокормить такую ораву?

Жили голодно. Однажды, отпоротый ремнем за самоуправство, Сеня сбежал из дому. Это ж надо – лет в десять сбежал и вот за тридцать ему, ни разу отцу-матери на глаза не показался.

– Как же так, Сеня?

– Сначала боялся того же ремня, повзрослел, понял – не ищут, значит, не нужен. Ну, значит, и они мне не нужны.

А как жить подростку? Работать не умеет. А что умел? Воровать? Приходилось.

– Попадался? – любопытсвую.

– Угу.

– Били?

– Еще как.

Один раз на базаре в Елань-Колено не сдержался от голода, стащил кринку молока у торговки.

Мужики не дали убежать, так она, торговка та, била его пустой кринкой по голове, по голове. На всю жизнь остался шрам. Шастал по огородам, бахчам, по садам. Ну да это и за воровство не считалось. Бывало проползет между картофельными рядами, наковыряет крупных клубней и на речку. Там костер. А картошка испечённая на углях, лучшей еды не надо. Хорошо было в селах весной: на деревьях грачи, сороки, вороны яйца несут. Пока ненасиженные, добывал, сколько надо и тоже на углях пек. Иногда захочется чего-нибудь домашнего – щей там, или борща. Идет пацан по улице – видит бабушка на огороде копается, подойдет, спросит:

– Тебе, бабушка, дров не надо наколоть?

Если бабушка одинокая, обрадуется: «Ой, милок, сам Бог тебя послал. Нужно. А ты огурцы, капусту не польешь? Что-то у меня спина разболелась», и накормит и ночевать оставит. У иной не один день поживет. Она его еще и обошьет, обувку или одежонку лишнюю от внуков отдаст.

Хорошо бывало летом, в сенокос – не надо искать жилье: в копнах, в зародах, в скирдах сена, соломы еще не слежавшихся легко делать кубло. Тепло и сухо в нем, а аромат, голова кругом идет. И спится – по утрам вставать не хочется, только голод и гонит к людям.

Зимой плохо. Зимой можно жить только в городе, где в домах есть подвалы, открытые чердаки.

На чердаках лучше. Там трубы почти всю ночь теплые, прижмешься к теплу и дрыхнешь. Но с едой хуже. Да и городских людей с деревенскими не сравнить. Они черствее, и в мальчике беспризорном вора видят. Ютился больше на вокзалах. В

Бутурлиновке тепло. Столики в зале. На них стоя пассажиры ели. На тарелках иногда кусочки хлеба оставались, беспризорники по очереди ждали, чтоб опередить официантку объедки схватить. Иногда дрались за эти кусочки, и тогда милиционеры выгоняли их с вокзала. Ехали на другую станцию, в Хреновое или Бобров – так и кочевали с одной станции на другую с осени до теплых дней весны. Спрашиваю Семена, видел ли он в жизни хоть один счастливый день.

– Был случай, я нашел на перроне около кассы обронённый кем-то рубль. Наелся – век не забуду. А один раз какая-то, видать купчиха, дала мне никем не тронутый калач за то, что я ей баул до вагона донес. А еще...

Это сытый голодного не разумеет, а голодный голодного поймет. Помню, как радость загоралась в глазах моих мальчишек, когда я приносила хоть какую-нибудь еду.

– Потом, когда подрос, были хорошие дни, меня взяли работать на конезавод в Хреново, потом я работал кучером в Елань-Колено. Потом прибился к чабанам в овцесовхоз. Все у меня теперь хорошо – похвалился он напоследок, шли до дома потихоньку, до рассвета. Много я узнала о его жизни. Про мою он не спрашивал, наверное, дядя Борис ему кое-что рассказал.

Остановились около калитки, и тут он сказал главные слова, какие все и решили:

– Ты, Мария, не бойся, я детей жалеть буду.

Таким образом он сделал мне предложение.

– Спасибо, Сеня, – ответила я, – и это означало мое согласие.

На другой день мы пошли в сельский совет. Там секретарь взял наше заявление, записал нас мужем и женой. Мы расписались, и стала я Железняковой. Да простит меня Федя, другим способом спасти наших детей не могла. Вместе с фамилией ко мне прилепилось и прозвание – Железнячиха. Так издавна повелось в наших хуторах.

Железняк и Железнячиха

Мудрый все-таки дядя Борис – так ловко защитил меня от вражин проклятых. Сразу все поверили, что Феди нет: Ребриков перестал частить в наш хутор; Смолян, Гвоздёв стали дома ночевать, спокойнее стало жить во дворе Пирату. Живем, привыкаем

друг к другу. Дети глядят на отчима исподлобья. Что он за человек? Он искоса следит за их поведением - тоже не знает, как себя вести с ними. Алеша оказался умнее всех – скоро переломил себя и стал звать отчима папаней, ты же, Коля, рос самоуправным, не звал его никак. Я пыталась как-то наладить между вами дружбу. Бывало, копаюсь во дворе, говорю тебе: «Коля, скажи папе, чтобы ко мне пришел. Ты зовешь: «Эй, иди к маме, велела». Ему бы надо быть терпимее к пасынку, мог бы не заметить его задирку, но он сам обидчивый и задиристый, говорит: «Эй в бору свиней пасет, и они все подохли». Я ему на это говорю: «Сеня, ну он ребенок, а ты же взрослый, прими это в шутку, улыбнись, обними его. Он и отмякнет». Не, не отмякнет, он же меня ненавидит. Я же вижу». Тебе, Коля, тоже объясняю, мол, пробуй, хоть один раз назови его папой или папкой, и вы подружитесь. А ты настырный: «Какой он мне папка. Он чужой дядька. Можно я его буду называть как все – Трофимыч?». «Нельзя» – говорю. – Он хоть и не родной, но отец тебе. Можно просто – отец.

Ну, живем. По квартирам все. У одних месяц, у других. Пока в Ежовке. В Андреяновке обещали подвал в тереховском доме (в кулацком, теперь все, что принадлежало нам, стало кулацким, дом, сад, корова, косилка-самовязка – все кулацкое).

Решение председатель сельского совета подписал, но в Андреяновке кто-то нам мешает. И живем мы пока не знаем, в каком колхозе будем работать. Может быть, переедем в Воронежскую область в овцесовхоз. Ждем и говорю я мужу:

– Давай съездим к твоим родителям.

Он аж испугался, говорит:

– Да ты что, Маруся, там про меня уже давно забыли.

– Отец, мать не могли забыть.

Он упирается, тут я и упрекнула его.

– Вот ты на Колю обижаешься, упрямец он. А сам какой?

И повлияло:

– Ладно, – говорит, – как-нибудь поедем.

А я на своем стою:

– Да не как-нибудь, а с первым обозом, что в Калач зерно повезет. Пока эти волкодавы не поделят кулацкие дома, нам все равно жить негде.

Уговорила.

Оставили мы ребятишек у дяди Бориса, поехали.

Что было, описать не могу. Встречало нас почти все село. А село-то большое. И наполовину по фамилии Железняковы. Они сплошь родственники Семену Трофимовичу: родные дядьки, тетки, сестры, братья, двоюродные и троюродные, да у каждого дети.

Как пошли один за другим поглядеть на родственника, которого давно похоронили, а он оказался живым. Это ли не чудо! Он почти никого не узнавал, его узнавали по породе – был похож на отца, на братьев. Многих, особенно молодых, он не знал вообще. Матушка от счастья не знала, что делать. Ведь сколько лет-годов поминала в церкви за упокой души усопшего. Я посоветовала ей сходить в церковь. Она пошла. Батюшка так ей сказал: «Радуйся, мать. Но у Господа Бога попроси прощения за то, что ввела церковь в заблуждение, и помяни сына во здравии».

Что она и сделала. Сейчас в доме праздник – сын приехал, а у них, у хохлов, традиции такие же, как и у казаков.

Домик у родителей маленький, в нем не уместить даже самых близких родственников. Решили содвинуть столы во дворе. Столы, табуретки, лавки дали соседи. Мест много, а все равно всем не хватило. Такую ораву людей накормить, напоить, много чего надо, а они, старики Железняковы, очень бедные. Все это знали, и все пришли со своей выпивкой, со своей закуской. Так что всем всего хватило на три дня. Гуляли широко, весело. У хохлов песни красивые, спокойнее, чем у казаков. У казаков, чтобы за три дня пьянки не подрались, да такого и быть не могло. У хохлов все пристойно.

Похвалюсь: я всем понравилась. Все приглашали в гости, обещали даже к нам приехать. И приезжали: сначала сестра Сени, потом брат с женой. Ну, погуляли, пора и честь знать – домой пора. А дома дела не стояли. Все кулацкие дома распределили, какие в колхозную собственность, какие по себешкам, захватили. В доме Гуреевых школу в четыре класса разместили. Тесновато, но для нее берегли дом Рощиных. Он пока стоит на окраине, ждет переноса. В наш дом целился вселиться Гвоздев. Это он долго не соглашался пустить нас в подвал. Но ему дали дом моего деда Павла Константиновича, в котором я родилась. В нем жила Ксения Панкратова. Её тоже подвели под раскулачку, но она прознала это и сбежала с детьми на Кавказ. Дом Степана Погорелова захватил Петяня Седов. Про это особый разговор. Степан Погорелов в этот трижды проклятый НЭП построил небольшую на конном приводе мельницу. Обслуживал весь хутор и набрал денег на дом. Постро-

ил. Дом построенный светлый, но крытый был чеканом. Жили в нем сам Степан с супругой да сын Федор. У Федора, кажется, уже было шестеро детей мал-мала меньше, да еще одного ждали. Неужели и их в ссылку отправять? Решили так: стариков Степана с женой отправить в Сибирь, а Федора с Феклой и детьми выгнать на улицу. Коля, я ничуть не преувеличиваю. Так было. Федору позволили разобрать строение над мельницей. Разобрали, построили ухорон от дождя и ветра, живут, а сами саман из земли и коровьего навоза делают, сушат, и к зиме слепили домик, по соседству с Петяней. Встречались каждый день. Глаза должны были у него полопаться от стыда. Не полопались. Наверное, его и не было.

Вот поделили дома. Наш определили под сад-ясли. И наше заявление не забыли – нам подвал дали. Это уже второй раз – первый раз еще при Феде. Так что он был внутри побелен, осталось полы, загаженные девками из садика, почистить. Они бегали туда, как в сортир. Ну да это полбеды: очистили, сделали замес глины, покрыли пол ею. А когда глина просохла, нарвала в саду чобору… И такой аромат был. Плохо только, что там было всего два окошечка малюсеньких, прямо над землей вделаны в фундамент. Солнышко в них никогда не заглядывало, и потому всегда было темновато. Но мы рады – свой угол.

– Ну, Сеня, – говорю мужу, – Теперь давай думать, как нам богатеть.

А он богатеть не собирался. У него вообще не было никаких думок на завтра. Придет с работы, поест, закурит и на кровать с цыгаркой. Бывало дам ему отдохнуть, а потом беспокою:

– Сеня, ну чего ты лежишь?

– А чего делать? – не понимает он.

– Как чего. Разве в семье нечего делать? – подсказываю. – Вон у Алеши подошва у ботинка отстала. Починить бы.

А он:

– Чем я чинить буду – у нас ни молотка, ни шила нету. Колодка нужна. Да и чинить я не умею.

В другой раз:

– Сеня, ну чего ты лежишь?

– А чего делать?

– У нас к зиме ни одной дровяной палки.

– Да ты что, Маруся, – сопротивляется он. – До зимы еще эвон сколько.

– И не увидишь, как она подойдёт. Мы же их не возами возить будем, а вязанками. Ныне вязанку, завтра другую. И все в кучу. К зиме и наберем.

– Да у нас и топора нету.

Господи, да что же это такое? Невольно начинаю сравнивать его с Федей. Тот до всего сам своим умом доходил, все своими руками делал. Хозяин в доме был, а этот, как теперь говорят, сожитель, хуже бы не назвать. Иду, к Павлу, к мужу сестры – может, у него лишний топор найдется. Нашелся. Дал. Только его наточить надо.

– Наточи. Ты мужик или кто? – начинаю злиться.

– Да у нас ни терпуга, ни бруска нету.

– Сходи в кузницу. Там точило есть.

Сходил. Вернулся радостный: «На, попробуй, какой вострый» – сам осторожно пальцем по лезвию водит. Радуюсь – значит не безнадёжный. Если подсказывать и будет дело.

Говорю опять:

– Сеня, а мы что так и будем жить – ни поросенка у нас, ни овечки…

– Кто их нам даст. Они денёг стоят. А денег нету.

– Надо заработать их.

– Так нам же за работу не деньги начисляют, а трудодни.

– Нет, Сеня, ты не так говоришь. – Я стараюсь не нервничать, понимая, что он в общем-то и не виноват. Откуда взять бродяге хозяйскую сноровку? – Ты хоть траву косить умеешь?

А он:

– Была бы коса.

Сходила к маме. У нее где-то была коса. Принесла. И отбойный молоток, и брусок.

Оказалось знает, как с косой обращаться:

– Ну и что дальше?

– А дальше надо в леваде, в балочках траву повыкосить. Из левады вязанками перетаскаем, с поля привезти арбу в колхозе выпросим.

– Маруся, – удивляется он. – Зачем нам сено? Кого кормить?

Непрактичный по жизни человек, он даже рот открыл от удивления, когда я ему сказала, что это сено потом можно будет продать, и появится у нас копеечка, на какую можно что-то купить.

Принесла ему косу. Он отбил ее, наточил и потом косил траву в кулацком саду, в левадах, вокруг дома в степи, где разрешалось властями. И появился около нашего жилья стожок на хороших воза четыре. Весна в этом году была затяжная, не у всех хватило до зелени сена. Мы этот стожок выгодно продали.

Вот пришло время открытия рябовской ярмарки. Пошли богатеть. Еще не знаем, кого купим: может, тёлочку – теленка, вырастим, коровка у нас будет. А если не хватит на нее денег, то овечку с козочкой точно огорим. И будут у нас свои носки, перчатки теплые на зиму. Ну, ладно, пошли. Ходим по ряду, где продают всякую живность. Нету телочки. Бычки есть, а телочки нету. Коровы есть – не по нашим деньгам. Потом Сеня увидал: кто-то вывел на продажу старую-престарую корову. Засомневались – нужна ли нам такая? Маклаки на костреце торчат, ребра на боках просматриваются. Понятное дело – не от голода, а от старости. Стали любопытства ради прицениться. Почти по нашим деньгам, надо торговаться. А хозяин ни в какую – и так задарма продаю. А она доится. И правда – вымя полное. Сговорились. Сговорились потому что ни у него, ни у нас другого выхода нет: у него, кроме нас, нет покупателей, у нас на хорошую животину денег не хватает.

И вот ведем. Ведем, не знаем, радоваться нам или печалиться. Боялись, люди засмеют нас за такую покупку. Не засмеяли. А дети своего молока попили. Плохо ли?

Зорюшка, так мы звали старушку, оказалась такой молодчиной – бугая вскорости потребовала. Повели к бугаю. Она его приняла и одарила нас телочкой, тоже Зорюшкой. На радость мне Сеня стал входить во вкус как хозяин.

Около дома еще не растащили на дрова сарай. В нем ранее до раскулачки жили наши овечки. Теперь его надо ремонтировать для Зорюшки. Взялись за дело: отчим со старшим пасынком. Алеша, оказывается, умел плетни плести. Сделал ясли. Семен врыл сошки. Рухнувший угол крыши на них подняли, сверху положили слегу, на нее жидкие вербовые бревнышки (толстые, упаси Бог рубить – деловой лес). Накрыли соломой, стену глиной обмазали. И получился сараюшек теплый, даже не страшно, если в холода Зорюшка отелится – не замерзнет теленочек. Бабы стали завидовать мне, мол, вон какой хозяйственный муж попался Железнячихе. Я уж молчу, никому не говорю, что он ни шилом, ни долотом работать не умеет. А ему похвальба нравится. Ну и ладно.

Год перед войной оказался урожайным. Хлеба на трудодни дали много. Мешков десять Сеня привез. Куда нам столько! Продали лишнее, продали картошку, в садах было много яблок, груш, вишни, терну – насушили всего себе на зиму и на продажу. В сараюшке уже стало тесновато. Живем! Богатеем!

Сене нравится жить не хуже всех. А мне тоже – детишек стала одевать-обувать в купленное в магазине. Жить бы. Да не судьба.

В лето перед войной наладили в Калач воронежский обоз с хлебом на элеватор. В этом обозе были Сеня, мой брат Степан, поехал и завхоз Петр Елизаров. Привезли. Стоят в очереди. Ждут, когда начнут принимать зерно. Тут и подходит к Сене человек, спрашивает, не нужны ли арбузы. Как не нужны. Жара стоит, пить охота. Да вот беда, денег нету. А он предложил поменять мешок зерна на мешок арбузов. Сеня пошел к Петру: так мол и так, арбузов предлагает мужик. А Петр говорит, «Ну а чего ж, насыпьте мешок». Насыпали. А милиционер тут как тут. Нашлись свидетели. Составили бумагу на хищение государственного зерна и продажу его.

Все это было подстроено. Начались допросы. Елизаров отбожился, открестился, мол не видал, как это случилось и разрешения на обмен зерна на арбузы не давал. Был суд. И присудили Семену да Степану по три года тюрьмы.

И тут новая беда – дом кулацкий ломают, чтобы перевезти в центр хутора и из двух (Рощиных и нашего) построить школу. Большую школу, чтобы в одной половине классы были, а в другой жили бы учителя приезжие.

А нам куда? Опять к маме. Она как раз вернулась из сибирской тюрьмы, а Настя, сестра младшая жила одна. Теперь стало пятеро. Слава Богу, у них сарай был. Место для нашей живности нашлось.

Перешли. Живем. Думаем, как дальше нам быть. Алеша уже большенький стал. В разум вошел. Вот и говорит мой главный советчик: «А давай, мама, свою хату построим». Думала, шутит, а он всерьез: «Я и место хорошее нашел». «Где же? – спрашиваю. – На месте, где был дом тетки Машки. Там есть погреб, колодец, земля там лучше нашей».

Забыла сказать, что к этому времени Маня-Маленькая с Павлом продали дом и уехали в хутор Ушаков в Ростовскую область жить. Дом купцы сломали, а сарай оставили.

«Для живности нашей есть жилье, – продолжает Алеша.– А мы пока поживем в подвале, что под домом. Он поменьше нашего, но пожить можно».

Милый ты мой сыночек. И не заметила, как вырос. Думки у тебя, как у отца и руки, как у отца: все ты можешь, все ты делаешь, а там, где не знаешь, все равно делаешь и в конце концов получается.

Говорю ему: «Всё ты придумал хорошо, а придумал ли, из чего строить дом?». Он и это обмозговал: на старом дворе еще сохранилась каменная ограда. Она только одна такая во всем хуторе. Яков Терехов с сыном Агапом, когда строили поместье, этот камень возили из рябовских яров. Из них сложили невысокую ограду. Она теперь почти рассыпалась, но камень лежал на месте. И не очень далеко от места, где Алеша задумал строить хату, шагов в полтыщи. Мальчикам играючи можно натаскать камня. Но я выпросила у Погореловых тачку. На ней навозили целую гору. На ней и глины навозили, но камень-то чем-то надо крепить. Это сейчас – цементом пользуются, а тогда глина, солома, делай замес и укладывай камень.

На бумаге все может показаться легко и просто, а в жизни, когда взялись за дело баба да два подростка, невозможно оказалось описать, как трудно. Но пишу, как было.

Ну, навозили, у Алеши руки золотые, а все-таки человеческое жилье не сарай для коровы или овцы. Строить надо с умом, с опытом. В этом деле нельзя делать и, если не так, то переделывать. Нужен мастер. А нанять его без денег невозможно. Что делать?

Собираю семейный совет. Мужчины мои строгие, сурьезные. Объясняю: «У нас две Зорюшки – старая и молодая. Молодая уже стельная, а старая уже и молока не дает. Её, куда не крути, надо продавать. Все равно как молодая отелится, у нас окажутся две коровы, а по закону колхозной семье положено иметь только одну корову. Это одна причина, почему старую надо продать. А вторая – у нас не хватит сил заготовить на две головы корма. И третья, главное, у нас будут хоть небольшие деньги. «Ну так как поступим?» – спрашиваю. И слышу дружный ответ: «Продадим». Так и сделали.

В Ежовке у Тибирьковых в это время работал мастеровой человек. Михалыч звали его. Он из Воронежской области. Каждый год приходил в наши хутора на заработки: кому печь сделать, кому колодезь вырыть или дом отремонтировать. Он его мог и поставить.

Сказала, какая нужда привела к нему. Михалыч поглядел как на очумелую, говорит: «С ума спятила баба – война идет, а она строиться задумала». «Так нам жить негде» – объясняю». «Надо подождать». А чего ж колхоз не стал ждать, – говорю – Вон школу из двух кулацких домов сделали. Никто, Михалыч не верит, что немец аж до нас дойдет. И мы не верим». «Ну как знаешь, – согласился Михалыч. – Завтра приду глянуть, что у вас есть для хаты». Пришел, поглядел на гору камня да бугорок глины. «И это все?». «А что еще надо?» – спрашиваю. А он – « «Нужны, милая, доски на пол, на потолок». Я сразу: «Досок не то что у меня, в колхозе нету. Нужны были доски, так церковь поломали». «Ладно, – говорит, – пол, допустим, будет земляной. Потолки из хвороста сплетем. А для крыши нужны бревнышки, хорошо бы дубовые – для венца, для стропил, для матиц, на которые плетень положим, будут?».

Вот тут пришлось задуматься. В наших балочных лесах дуба много, но все кустовой, не дают ему вырасти. Вырастает в руку толщиной – сразу под топор. Алеша знает лес, в котором растут дубки подходящие для нас – Лопатин лес. Но ехать за ним километров десять. «Будет, лес», пообещала я.

Замес дело важное. Но его делать, глядя со стороны, вроде как игра: раскидали глину кругом, накрыли соломой, полили водой хорошенько и пошла карусель. Ходим по кругу. Я даже Зорюшку в табун не пустила. Она хорошо месит. Вожу ее, сама топчусь, дети топчутся. Михалыч делает канаву под фундамент, наблюдает, подсказывает, когда соломы подбавить, когда воды подлить. Кружились почти день.

Мы с Михалычем поделили помощников: старшего ему, младшего мне за лесом: и там в Лопатином лесу, я поняла, что и второй мой помощник тоже вырос. Не по времени, ему всего тринадцать, а внешне, крепышок и по уму – главную работу берет на себя. Он выбирает нужный дубок, срубает, выносить бревно в гору, он подставляет плечо под комель. Жалеет мамку. К вечеру мы дома, а там уже каменная стена в пояс. На другой день она поднялась до плеча, на третий в полный человеческий рост. Молодцы мужчины. Михалыч кладет, как машина, только успевай подавать. Алеша молодой – не знает устали. И дело идет, идет. Я уже подумываю поработать на огороде – картошка заросла так, что и не видать ее. Я уже подумываю на счет травы для коровы на зиму. Надо бы помахать косой вокруг огорода, пока бурьянок молодой. А там

в саду после Троицы трава подоспеет и в лугу тоже. Все надо, надо, а рук не хватает. А тут беда – повестка пришла из военкомата. Слава Богу, не на войну зовут, а на строительство рубежей под Сталинградом. Остались мы без главного помощника. Но Бог нас не забыл – совершенно нежданно-негаданно явился Сеня и почему-то в солдатской форме. Пилотка со звездочкой, шинель с погонами, ботинки с обмотками – солдат. Как же так, ведь в тюрьме сидел? А все очень просто – из тюрьмы мобилизовали на фронт. А там у него выпала паховая грыжа, и его комиссовали по чистой за непригодностью к военной службе. Вот не было бы счастья да несчастье помогло. Немец уже под Сталинградом. У нас он вплотную подошел к Дону. Это в сорока километрах от Андреяновки. А мы строим. Над нами без конца летает рама. Где-то над Дударевской, а может и над Доном в небе вспыхивают белые облачка. Мужчины говорят, что это наши зенитки стреляют по немецким бомбардировщикам. А мы строим, все строим. Верим – Дон не пустит к нам вражину проклятого.

Алеша вернулся по холоду. Хата была почти готова. – Мы ее без конца топим, чтобы стены высохли. Сеня вышел на работу к овцам. Чабанское дело для него привычное. А в это время по нашим дорогам проходили отары овец, гурты коров, табуны лошадей, эвакуированных с Украины, Белоруссии. Одна отара задержалась у нас отдохнуть. И вот человек из эвакуированных пришел в наше правление с просьбой поменять своих овечек, которые устали от долгой дороги, на наших. На то время председателем колхоза был Марценюк, тоже из эвакуированных украинцев, толстый, одышной – наверное, потому и на фронт не попал. Свои люди – быстро сговорились. Надо посоветоваться с колхозниками. Позвали завхоза Петра Елизарова, он собрал инвалидов на совет, кое-каких женщин. Те как глянули на воротник пальто, на шапку купейчатые, что были на госте, обомлели. Курпеи с ягнят от этих овец серо-голубые, кудрявые, а шерсть на овцах длинная, голубоватая, красивая, не то что на наших мериносовых. Сразу и сговорились. И пошли наши овечки дальше, а эти остались на нашу беду. Вскоре начался падеж. Возами вывозили туши и сбрасывали в Герасимов яр. Позвали ветеринара. Он определил заболевание. К весне весь гурт оказался в яру. Завели судебное дело. Марценюка уже не было. Он сразу, как закончились бои в Сталинграде, уехал вслед за нашими наступающими войсками домой. С него взятки

гладки. Судили завхоза, бригадира и чабана – нашего Железняка. Петр Елизаров хорошо подготовился. Собрал все акты, подписанные ветеринаром. Рассмотрел их судья и уже склонялся к тому, чтобы не винить наших людей, списать убыток на болезнь. Но не тут-то было. Железняк на последнем слове вылез с языком, чтобы насолить завхозу за подставу его в Калаче, из-за чего он угодил в тюрьму. И сказал он: «Оно может быть и так – болели овцы. Но Петр Васильевич сказал не всю правду, он не сказал, в каких условиях содержались овцы. Зима, сами знаете, какая был холодная: вода в колодце замерзала, а у меня нечем проломить лед. Прошу: «Петр Васильевич дай мне лом». Не дает. Дай мне ведро, чтобы воды налить в корыто. Не дает. И получалось, что овечки плохо кормленные, еще и без пойла оставались. Выйдут из закута, похватают снега вместо воды. Как же не болеть». И повернул судья дело по другому. Пересчитали убыток. Он оказался в 100 тысяч. Эти деньги поделили поровну на троих – на завхоза, бригадира, и чабана. Мы попали в такую кабалу, что и во век не расплатиться. Денег-то на трудодни не давали.

И умылась я горючими слезами второй раз в этом году – первый раз в январе, когда Алешку забрали на фронт. Теперь вот во второй раз, когда судоисполнители приехали: повязали они овечек, козочек, поросенка – бросили в телегу, сналыгали нашу кормилицу Зорюшку и увели, увезли. Оставили нам кобеля Пирата. Живите, как хотите. Покупать теперь никакой животины нельзя – все заберут. Уехать из колхоза куда-либо тоже нельзя, потому что долг висит на нас. Опустились руки – смысла в жизни совсем не стало. Как после раскулачки. Но это еще не все. Очередные беды кружили около. В одной из них опять оказался Железняк.

Подходила весна. Сталинград освободился. Стало ясно – немца у нас не будет. Надо налаживать колхозную жизнь. Скоро приедут из эвакуации трактора. Будем пахать, сеять как всегда по весне. Состоялось собрание. Председателем у нас уже был Милованов Михаил Иванович. Человек со стороны, больной, вялый. Ему нужна поддержка. А у нас в первой бригаде даже бригадира нет. Последнего на фронт забрали. Кого бригадиром ставить? Некого. Все фронтовики как на зло хромые. А бригадир, как собака, должен целый день бегать и не уставать. Таким с виду оказался Семен Трофимович Железняков. Его стали обсуждать на бригадирскую должность.

И взмолилась я тогда: «Люди добрые! Не назначайте его. Он плохой хозяин. От него можно ждать только беды». Не послушались меня. Стали его уговаривать. А он, как на зло мне, согласился. И беда не заставила долго ждать: неопытный по жизни не знал, с чего начинать. Ему говорят – с бригадного хозяйства, вот список инвентаря, читай, подписывай и вперед. Прочитал, подписал, а потом догадался – сглупил. Надо было глянуть на этот инвентарь. Обычно его в зиму свозили к кузнице: это плуга бычьи, букори, травокоски, лобогрейки, конские грабли, телеги, арбы и много еще чего. На этот год было все по-другому: мужчины оставляли в поле травокоски, лобогрейки там, где их заставала повестка идти на фронт. Все осталось в зиму под снегом, заржавело, телеги без ящиков – колхозники разобрали на доски, арбы без грядушек, плуги без колес – унесли на ручные тележки. Многое чего не нашлось. Подсчитали убыток – 800 рублей, а это цена хорошей коровы.

Сеня понял наконец-то, что не успеет к посевной подготовить инвентарь, что весенняя посевная будет сорвана. А по законам военного времени придется отвечать ему в первую голову. Стал просить правленцев освободить от бригадирства по болезни. Не освобождают. Он уперся – «Не буду, у меня грыжа. Не зря же комиссовали из армии». Настоял, бросил бригадирство, но не отбиться от убытка за пропавший инвентарь. – 800 рублей прибавили к старому долгу. Несправедливо, по-хамски: ведь знали, что в пропаже инвентаря он не виноват. Акт подписал потому, что не знал, что нельзя было принимать на себя то, чего не видал. Уж как он ругался, судом грозился. А я ему говорю: «Не ругайся, Сеня, нашей беде теперь не поможешь. Справедливости как не было, так и не будет». И в самом деле: когда судили за пропавших овец, убыток считали по рыночной цене, а скотину у нас отнимали по государственной, считали за копейки. И получилось, что долг у нас убавился рублей на триста всего-то. Теперь вот вырос снова. Тридцать – сорок тысяч, нам без разницы – спишут, когда нас не будет. Но вот беда – мы обречены на жизнь только с огорода и с того, что получим от урожая хлеба на поле колхозном.

А хлеб в это лето уродился плохой. Да и с чего ему быть хорошим – трактора из эвакуации вернулись плохими, без конца ломались, земля обрабатывалась плохо. То, что напахали на коровах, оказалось малой долей. И получилось хорошо, где взошли зерна раннего посева, да подсолнухи. Посевная прошла плохо, но никого не суди-

ли. Семечки подсолнечные отвезли на Урюпинский маслозавод, а то, что мы заработали, я принесла домой в мешке. Дали по 250 граммов проса на трудодень. Живи не тужи – умрешь, не убыток.

Пришли с фронта Гвоздев, Седов. Не понравился им Милованов. Стали сживать доносами в райком. Сняли с председательства. А он и рад – колхоз наш назывался «Новая жизнь», а в списке по выполнению плана всегда был на последней строчке с самого начала образования колхозов. Гвоздеву все-таки не удалось в председатели пролезть. Его завхозом сделали, а на место Милованова прислали Цыбанова из Солонки. Он хохол, раненый в руку. Слухи о нем ходили страшные. Два раза собирались. Но все-таки воткнули его нам. Он сразу сказал, что у него больных не будет, а справками от врача он будет подтирать зад в нужнике. Это был намек на жен бывших руководителей, которые не работали в колхозе, а жили по справкам. Узнал он, что у Седова на чердаке спрятан плуг. Не стал вызывать милицию для обыска, сам полез на чердак и нашел пропажу, за какую Железняку начислили штраф. Сбросил плуг вниз и заставил Седиху у всех на виду тащить эту тяжесть в кузницу. Зачем ей понадобился плуг, точно не знаю, но догадываюсь – ждали все-таки немцев и думали: вот они придут, колхозы распустят, все будут жить единолично, и плуг в хозяйстве пригодится.

Обидел Цыбанов Седова. Надо было посоветоваться с ним, ведь секретарь партийной организации как-никак.

Седов и в самом деле про плуг ничего не знал. Он на фронте был, когда его Танюха додумалась до такого. Цыбанов на его обиду ответил так:

– Велю тебе, Петр Хведотович, донести до каждого колхозника, чтобы все, что растащили у прошлом годи, вернули до кузнецы. Иначе найду и всех пересажаю.

И помогло. Что не пропало, оказалось у кузницы. Но долг 800 рублей, с нас так и не сняли.

Круто взялся Цыбанов за дело, сразу вылечил начальствующих сидёх. И это всем понравилось – справедливый мужик. Не понравилось, конечно, его недругам, начали против него войну. Задолбали доносами. И доносы, надо сказать, были верными – была у Григория Христофоровича червоточинка – выпить любил, и по пьянке любил стрелять из ружья. Его даже побаивались пьяного.

И вот однажды вызвали его в райком. А там работал его дружок из Солонки. И говорит тот дружок: «Надо, Гриша, кончать с дурью, а не то снимем и партбилета лишим». Не оправдывался Григорий. А лишь сказал: «Та хай им грець» и ушел. А у райкома его ждал верный помощник Ванька кучер. Сел он в тарантас, приказал: «Паняй, Ванька, до магазину». Набрал уж не знаю сколько водки, и снова велел: «Теперь, Ванка, паняй до дому». А до дому сорок верст, и всю эту длинную дорогу он пил в одиночестве, пил не закусывая. Об этом я знаю с чужих слов, наверное, от Ваньки дошло. Может, чего и прибрехнул. А вот что было дальше, все в хуторе знают точно. А было так: въезжая в хутор, Григорий начал стрельбу из ружья. Это особенно никого не удивило – он всегда по темному, возвращаясь из района, возвещал стрельбой о своем приезде. На этот раз велел кучеру:

– Паняй до хаты Могилина.

Ванька остановил около дома лошадей. Григорий вошел во двор. Кобель навстречу, не пускает его в дом. «А хай тоби грець» – пробурчал он и выстрелил в кобеля и вошел в дом. Говорили, что колхозного бухгалтера он вытащил из-под кровати. Вытащил и посадил в тарантас. «Паняй, Ванька, до Гвоздя». Потом до парторга, потом до Шмыка.

– А Шмыка-то зачем? – спросил Ванька. Он знал, что Пахом Шмыков в друзьях с Цыбановым.

– А це не твое дило.

Арестовал он и Шмыка и усадил всю четверку рядышком. Шмык уже спал и потому был в нательном белье. Он дрожал то ли от холода, то ли от страха, и просил:

– Я-то тут причем, Христофорыч? Отпусти, бога ради.

– А, сучий сын, подпевала. Знаешь вину. Паняй, Ванька, доГерасимову яру, до миста, де овец закопалы, у сорок третьему годи.

Привез Ванька арестованных к яру. Цыбанов поставил всех четверых в рядок вдоль обрыва. Нацелился – щелк, щелк ружье не стреляет. Переломил его – оно не заряжено. Кричит:

– Ванька! Патронташ давай.

Первым опомнился Шмык: кинулся бежать вдоль яра в одну сторону, вниз, Гвоздев за ним, Могилин, и Седов в другую сторону вверх вдоль яра. Цыбанов зарядил ружье и начал палить. Настрелялся, идет к тарантасу, хохочет:

– Ну, як, Ванька, спектакля? А?

– Тебя, Христофорыч, в тюрьму за эту спектаклю посадят.

– Ни, Ванька, не посадют. А с председателя точно снимут, могут партбилета лишить. Та хай им грець.

И снова засмеялся:

– Ты бачив, яки у Шмыка подштанники на заду? Ни? Жевтые… Як воны тикалы! Як зайци.

По дороге домой Цыбанов велел кучеру с утра пораньше объехать все дворы и объявить, что вечером в школе будет общеколхозное собрание, чтобы на нем были все «бо вопрос наиважнейш».

Ну, конечно же, после такого события в школу пришли даже те, кому на собрании делать нечего, пришли, как на продолжение спектакля. Пришли все, кроме «расстрельной четверки». Григорий Христофорович совершенно трезвый, чисто выбритый, одетый в служивскую форму, высокий, стройный, красивый. Таким его мы увидали, когда из райкома привезли сватать на председателя, но тогда у него все грудь была украшена орденами и медалями. Героя привезли. Теперь китель его был чистый, ни одной блесточки парадной. Не тот случай, значит. И говорил он почти без хохляцкой манеры, почти по-нашему, по-казацки.

Собрание как собрание: президиум – в нем, как всегда водилось, школьная учительница – без нее никто не мог составить грамотнее протокол. Вел собрание Андрей Савватеев – фронтовик, вернувшийся по случаю обморожения ног на фронте. Вот он и говорит: «Предлагаю на обсуждение два вопроса. Первый, не понял, вроде шутка: такого у нас еще не было, чтобы председатель просил освободить его от занимаемой должности добровольно. Второй – это серьезно: председатель предлагает снять стотысячный долг с людей, который на них наложен судом за падеж овец, допущенный в 1943 году. Поднимите руки за такую повестку». Ни одна рука не поднялась. Все молчат, насупились. Саватеев порыскал глазами, нашел Матвея Ильича Черноиваненкова: слепой, мудрый, он может не знать, что никто не голосует. Его и спросил: «Ты почему не голосуешь?»

– А тут есть начальство из району? – спросил Матвей Ильич. – Нету. Ну тогда об чем разговор. Начальство нам тебя, Гришка, сосватало, начальству тебя и снимать. А нам ты даже очень хорош. Нам при тебе работается потяжелее, зато живется полегче. Ну так ведь и должно быть. Правильно я говорю, бабы?

И все загомонили: правильно, верно. Вспомнили бывших председателей: один пил, вечно ходил в обоссаных штанах, другой пил чрезмерно, любил заглядывать к вдовушкам, от каких его жена прилюдно выволакивала за космы сколько раз. Они больше года не держались, но и поставить было некого. А они цеплялись за власть, сменяли друг друга. И сказал Матвей Ильич:

– Так что, Андрей, снимай первый вопрос. Цыбанов всполошился зря, мол мы держимся за него: все равно снимут.

А Матвей Ильич опять:

– Знаем, что ты не мед. Наверное, на весь район прославил вчера наш хутор. Нехорошо, конечно. Но если взять во внимание твою молодость, то можно ждать, что ты повзрослеешь, поумнеешь, перебесишься. С кем не бывает.

Вот уж не думала, не гадала, что этот очень не ровный по характеру и по жизни человек окажется таким заботливым к людям. Когда принимал дела, наткнулся на наши долги. Почитал акты, вник, и понял, что в деле что-то не так. Он часто ездил в райцентр по делам колхозным, нашел время заглянуть к прокурору и по нашему делу. Узнал, что долг это дело колхозников, что если они сочтут нужным, могут его и снять. Не сразу он это сделал, видать приглядывался, что это за люди Железняк и Железнячиха. И вот оно собрание. Все дружно проголосовали за снятие с нас долгов не только за овец, но и за бригадирство Сени. Сделал доброе дело и уехал в район. Я даже не смогла сказать спасибо, не успела. И больше я его не видела – сняли, и колхозников не спросились. Слышала я, что он в своей Солонке работал шофером. Люди считали его странным человеком: он никогда не брал денег с тех, кого подвозил попутно, и всех подбирал, кому надо и если у него есть свободное место рядом. Пришли с собрания домой – радость через край. Говорю Сене – «Надо снова начинать жить, богатеть». Размечтался он: «Купим корову, пчел разведем. О пчелах он сразу, как поженились, говорил. Да все не получалось. Может, теперь получится».

А получилось вот что:

После Цыбанова снова стал председательствовать Гвоздев, он же и завхоз. Вот пришла из Урюпинска телеграмма. Надо ехать за постным маслом. Гвоздев нашел крайнего, кого послать. Вызвал в правление Железняка и сказал: «Возьми быков, водовозную бочку

из тракторной бригады и ехай на маслозавод». Поехал Семен. Получил масло аж триста с лишним литров. Дело в общем-то простое: лето, погода теплая, корма быкам брать не надо – в степи травы хорошие. Дорога, правда, длинная – один конец около двух суток. Но ничего – устали быки, выпрягай и пускай попасутся, отдохнут. И самому в тенечке под бочкой можно соснуть. Вот и едет ни шатко-ни валко, песенки намурлыкивает. Приехал.

Кладовая у нас в амбаре, что на току повыше хутора. Встречает кладовщик Иван Антонович Нескоромнов. «Как съездил?» – спрашивает. «Хорошо, – отвечает Железняк – принимай масло». Кладовщик заглянул в бочку. – «Чего принимать-то?» «Масло – отвечает возчик». «А его тут нету». Семен сам заглянул и обалдел – бочка-то пустая: Забежал позади бочки, посмотрел – затычки нету, дырка в дне бочки чернеет, а затычка-то где-то по дороге выпала. Взвыл он испуганный и побежал от амбаров в сторону речки.

Мы, бабы, в тот час на табаке у речки работали, цвет табачный срывали. Видим, человек с бугра резко так бежит в нашу сторону. Пригляделись – вроде бы Железняк. И правда, он. Бежит мимо нас и так по-детски мычит, а лицом белый. Пробежал и, слышим, с берега бултыхнулся в воду.

«Ой, бабы, – всполошилась я, – Он же плавать не умеет». Кинулись все мы к речке. Глядим, а он по воде бродит кругом, руки расставил, а воды-то немного повыше пояса. Он кружит, где поглубже ищет. Позвали. Он остановился и так грубо помянул Бога и мать, сроду так не ругался, мол утопиться не смог. Оно и понятно – речка-то пересохла почти.

Уговорили, вышел на берег.

«Что случилось?» – спрашиваю. «А я – говорит масло по дороге пролил, – всю бочку до капли вылил». «Ну и что?» – говорю. «Нам не привыкать».

Отпустили меня бабы. Веди, сказали, да глаз с него не спускай, – чтобы не того...». Привела. Он водки попросил. И два граненых стакана, как воду подряд выпил. А потом до самого вечера рыдал, как малое дитя. Ну да понятно – за одним горем другое. Какое сердце выдержит. А во всем виноват сам. Ну как же так можно, проехать почти сто километров и ни разу не посмотреть на эту проклятую затычку.

Он говорил, что на месте проверял затычку, даже тряпочку подмотал, чтобы покрепче держалась, а оно, масло, разболтало ее и выбило, когда не видал, может быть, ночью.

Состоялось заседание правления колхоза. Гвоздев настоял, чтобы наложить на Железняка долг по базарной цене. А это значит, никогда нам не видать своей коровушки, забыть про пчелок навсегда.

В прежних долгах Сеня не считал себя виноватым, но в этот раз… Он испытывал большую вину перед людьми, которых оставил без масла в обеды на полевых работах, перед семьей. И эту вину пытался сгладить работой. Ни от какой не отказывался. Ему нельзя было носить тяжести – перетянет потуже свою грыжу куском материи и несет хоть бревно, хоть мешок с зерном; нельзя было землю копать – то же самое. Послали его рыть силосную яму. Пошел. И вот копает. К обеду выбился из сил. Пришел домой обедать и говорит: «Маруся, не могу – пить хочу. Дай мне молока». Молоко в погребе. Достала корчагу, говорю: «Подожди немного, сейчас на загнетке разожгу костерок и чуточку согрею, слишком холодное». Разожгла, обернулась за корчажкой, а она пустая. «Что ж ты наделал, – говорю, – Даже дети знают, что холодное молоко пить опасно – горло простудишь». Не стерпел…

И началось: к вечеру закашлял, к утру жар. Побежала я к председателю. К тому времени уже нового нам сосватали Ивана Ильича Минаева, из соседнего хутора Становского.

«Дай лошадь, Ильич – прошу, – Железняку плохо». Он только что собрался куда-то ехать». «Иди домой, – говорит, – я сейчас смотаюсь за Рышкиным». Это наш доктор, один на весь сельсоветский куст. Живет в хуторе Ежовском. Душа добрая, Ильич. Мотнулся и через час уже Рышкин слушал больного. Оказалось у Железняка воспаление легких, надо срочно в больницу, а больница в райцентре, сорок верст до нее. Ильич и туда готов был везти Сеню, но он заупрямился: «Не поеду, и так пройдет». Не прошло. Через несколько дней убрался.

Несуразный по жизни он был человек, но хуторяне об нем жалели. Уважительным был человеком. Никого зря не обидел. А что так не складно получалось у него, судить его за это нельзя – с детства бродяжил, опыта по жизни не набрался. Ни папки, ни мамки у него – жил, как Бог на душу положит. Бродяга – одним словом.

И осталась я одна в моей стылой каменной избушке. Алеша с войны не вернулся, младшенького взяли на службу. С ним мы договорились – он в Андреяновку не вернется. Да и то, хотел учиться. Надо было десятилетку кончить. И он по умному рассудил: останется после срочной, на сверхсрочную – будет служить и вечерами ходить в школу. Так и сделал: еще два класса к своей семилетке добавил, а десятый добивал уже в Сталинграде. Тяжело ему далась жизнь в Сталинграде – хотел сразу все взять: работать, учиться и жилье строить. Жена у него была хорошая, тоже в нитку тянулась и все получилось, даже в институт она его отпустила. И у меня на душе полегчало – он свое возьмет. Не зря мне повитуха Демьяновна напророчила: «он своего не упустит». И правда. Часто я, глядя на него, на Сеню, думала: как хорошо, что я тогда как бежала с Северного Урала, в Казани не соблазнилась отдать моих ребятишек в детдом. Вот он пример, Сеня, вырос без родителей, и что вышло? Я считаю, что нет большего греха, чем осиротить свое чадо. Тяжело, но надо растить его, надо помочь ему стать на ноги, а потом уже и радости пожинать. Ко мне от моего младшего они уже приходят, то в письме, то посылочкой, то в виде перевода денежного. А мне-то и надо всего лишь, чтобы у него все получалось. Пока получается.

После того, как я совсем осталась одна, жизнь не кончилась. Думала вперед: вот отслужит сыночек, женится, будут у него детки, будут они приезжать ко мне в гости. Вот еще радость. Плохо то, что тесно в моей каменушке. Стали мы подумывать, как нам объединиться с мамой. Она тоже осталась одна. Степан тоже, как Сеня, был мобилизован из тюрьмы на защиту Петрозаводска. Прислал всего лишь одно письмо – ранен в руку. И все. Стали его искать. И узнали страшную весть – вся воинская часть, созданная из заключенных, за то, что сдала немцам город, была осуждена по статье «высшая мера наказания». («В книге памяти» изданной в Волгограде в 1994 г. сказано, что Панкратов Степан Георгиевич пропал без вести в 1943г. прим. Н.Терехова). Где, при каких обстоятельствах пропал, так и неизвестно. Вернулась из эвакуации младшая сестра Настя. Вернулась больная, туберкулез. Болела около года. Умерла. Мама и говорит: «Бросай свою хату, переходи ко мне в дом». А я и рада бы, да жить рядом со Смоляновым Иваном не хотела. Вот если бы были деньги, отделить бы нашу часть

дома, построить бы свой. Запала такая думка в голову. Да денег нету. На мне висит Сенин долг за пролитое масло. Но Бог меня не только наказывал за грехи мне неизвестные, но и награждал, наверное, за спокойное терпение. Иван Ильич, узнав о моем долге, снял его. «Железнячиха не должна отвечать за Железняка» – сказал он. А вскоре в хуторе жизнь совсем поменялась: колхоз ликвидировали, и мы стали совхозными людьми. Все колхозное имущество оценили, посчитали на каждого колхозника. И оказалось, что в колхозной кассе лежат на каждого из нас деньги. На мою долю выпало аж одиннадцать тысяч рублей. Боже милостивый! Счастье-то какое подвалило. Мы наняли мастеров, они отрезали половину нашего дома и перенесли на место рядом с моим родовым домом, который после раскулачки захватил Гвоздев. Ильич помог нам выписать и привезти лесу. Домик на две комнаты получился хороший, светлый. Земля моих предков рядом, добрая – она всегда родила все, что ни бросишь в нее. Косился Яков на такое соседство. Ему не нравилось, что мы снова начали богатеть. Он всю жизнь разорял нас, а мы выкарабкались наверх, и вот живем теперь не хуже других. Есть у нас теперь и коровка, и все, что у людей по мелочи. Приезжайте, гостечки дорогие, из города! Мы с мамой ждем вас каждое лето!

Не надо бы вспоминать напоследок о моих разорителях, но ведь спросят внуки, правнуки, для которых я пишу эти строки: а как же они жили, разбогатели? Стали их дети счастливыми? Увы! Все они: Смолян, Гвоздев, Седов один за другим ушли из жизни. И никогда я не слышала, чтобы кто-то из хуторян помянул их добрым словом. По заслугам и честь. А дети их?! Детей только пожалеть можно: как все в хуторе, малограмотные, жили не в радость. Ни у одного не сложилось счастливой судьбы. Бог за грехи родителей перекладывает ответ на детей. Это я знаю по жизни своей, и потому предостерегаю своих потомков – *на чужом несчастье свое счастье построить невозможно*. Не делая людям зла – делаешь добро своим потомкам.

Ну вот, Коля, я закончила, как ты просил, свою писанину. Трудно будет тебе разобраться в ней. Но ты постарайся: где поймешь, где догадаешься, что я хотела сказать. Трудное для неграмотного человека ты поручение сделал, так что не обессудь. Как смогла, так и сделала.

Послесловие

Первая половина рассказа «И такую жизнь пережили», опубликованная отдельным изданием, вызвала неожиданный резонанс в средствах массовой информации: брошюру показал и рассказал о содержании тележурналист Георгий Гордеев, вслед за ним провела две радиопередачи корреспондент местного радио Катерина Рябова, потом материал с некоторыми сокращениями был перепечатан областной газетой «Сельская газета». И звонки… Я подивился тому, как много людей вокруг нас, склонных к человеческому состраданию, как много их не понаслышке знающих о жестоких политических репрессиях в нашей Советской стране, удивился и тому, что еще живут люди наподобие меня, познавшие лагерную жизнь в детстве, родившихся в тюрьмах. Бедная, обедная Россия, несчастный твой народ, сколько же ты перетерпел горя и страданий, и какой же ты смиренный, – не взорвался, испытывая на себе невыносимую несправедливость.

Многие читатели хотели бы узнать о дальнейшей судьбе Марии Георгиевны. Один вопрос повторялся особенно часто: неужели она так и прожила жизнь, не зная, что такое счастье? Готовя к изданию вторую часть ее рукописи, я обнаружил, что она не дала ответа на этот вопрос. Ну, а я-то, как сын, разве не знаю этого? Знаю, была счастлива, но не на сто процентов. Знаю потому, что человек – крестьянин может быть счастливым только на земле, где его родовые корни, где он построил дом, родил детей и вырастил сад. Перенеси его в другую среду, осыпь его золотом, он до конца дней своих будет тосковать по длиннокосой задумчивой плакучей иве, по сверкающему листьями серебристому тополю, по тропинке, ведущей мимо в любимый сад. Да мало ли чего вспомнится. Для человека, оказавшегося на городском асфальте, даже мелочи деревенские обретают особое значение, особый смысл. Сужу по себе. Двадцать лет прожил я в хуторе, но как приеду, бегу искать близкие сердцу места. К ним ведет узенькая тропинка через леваду, за которой начинается степь. Там, на крае левады сад, за садом пепелище моего подворья, густо поросшее дикой коноплей, пустырником, ясноткой да крапивой. Но я узнаю все, ориентируясь по холмику уже размытого дождями фундамента некогда красивого дома, в котором жила моя радость. Саженях в двадцати от холмика стоял

амбар с закромами для зерна, муки, а чуть далее второй амбар – в нем хранились хомуты, ёрма, колеса тележные и прочая хозяйственная утварь. И вдруг почудилось грустное и тоскливое «Сплю!» «Сплю!» Это память вырвала из прошлого голос предвестника беды совы-сплюшки, которую в народе зовут пугачом. И вот он зрительный образ: отец. Он бегает от амбара, к другому, прогоняет вон со двора пугача, а тот перелетает с амбара на дом и обратно. Не желает улетать, там в углу нашего дома живет его семья. И он не согласен с хозяином дома и противоборствует, не желает терять свое счастье. Никто не хочет поступиться своим счастьем. Когда-то, когда еще стоял дом, рядом рос огромный по моим детским представлениям серебристый тополь. Он тоже сражался за жизнь, а значит за свое продолжение. Вот сломали дом, спилили тополь, и уже разделали его тело на доски для колхозных нужд. Он даже в состоянии пня продолжал борьбу, выпуская корнями на свет божий ростки. Теперь там стоит целая роща серебристых тополей. А рядом самый благодарный кустарник – сирень. Сколько ему? Не знаю – первый росток посадил еще в девятнадцатом веке мой дед, донской казак Яков Терехов. Вот по ним и тоскует моя душа, душа моей мамы.

Еще во время моей учебы мы договорились. Как стану я на ноги, так заберу ее в город, хотя она панически боялась этого и сопротивлялась, сколько могла. А могла, пока на ногах держалась ее мама Акулина Ивановна, пока сама крепко держала в руках лопату, мотыгу, косу. Но здоровье, как полая вода, истекает незаметно. Наконец она сказала – «забирай нас».

Акулина Ивановна прожила в городе два года, так и не увидев его – разбитая инсультом не выходила даже во двор. Мама прожила двадцать лет. Трудно привыкала. Однажды решила сходить в магазин. Он был от нас метрах в трехстах. Покружилась в очередях, вышла и растерялась – в какую сторону идти, все дома одинаковые. Прислонилась к двери, стоит. Может, кто из знакомых увидит ее. Оказалась рядом добрая душа, довела до подъезда. Так была она все-таки счастлива? Она об этом не говорила, но осмелюсь утверждать – была. Ну еще бы, выполнила наказ мужа спасти детей. Спасла. И в этом ее счастье. Сын окончил институт – он первый в династиях предков одной и другой ветвей, первый в истории хутора с высшим образованием. Слух прошел, что он знает

законы, и к нему можно обратиться при нужде за помощью – не откажет.

Был случай: я приехал на побывку к матери. Шел по хутору, а навстречу мне Анна Федоровна Гвоздева, племянница Якова. Старая знакомая. Разговорились за жизнь. Она пригласила в свою избу поглядеть, в каких условиях живет. Условия жуткие. Саманная избушка грозила вот-вот рухнуть – одну стену, выпирающую наружу, она подперла бревном, внутри потолок из-за уползающей стены держался на честном слове. Хозяйка подперла его двумя стойками. Дело за хорошим дождем и Анна Федоровна однажды будет заживо похоронена под развалинами. Еще не зная, как ей помочь, я обещал заняться ее бедственным положением. В то время райкомы, обкомы очень быстро реагировали на письма граждан. Я написал письмо в обком с просьбой обратить внимание на беду дочери погибшего на войне защитника Отечества Федора Яковлевича Гвоздева. И что вы думаете? Через две недели в хутор приехала комиссия. Проверила факт. Через небольшое время Анна Федоровна вселилась во вновь построенный домик. Я получал благодарственные слова через маму. Это ли не радость. Сын не ожесточился сердцем, помог, а ведь знал, что Федор тогда, в тридцатых годах, голосовал за выселение нас на Северный Урал.

Слух о моих возможностях (преувеличенных сильно) закрепился. Стали приходить просьбы о помощи. Я их не коллекционировал, ибо не собирался о них рассказывать, и забывал о них даже если был хороший результат. Но об одной из них поведаю. Мои земляки из хутора Ежовского хотели, чтобы жизнь у них была, как у всех цивилизованных людей – чтобы до хутора лежала асфальтовая дорога, чтобы в каждом доме был газ, надежное электроснабжение. Особая просьба – восстановление моста через речку Сухопесковатку. Просьбу ко мне достучаться до губернатора подписали почти сотня хуторян. Я не верил в перспективность исполнения желания – слишком много и сразу хотят земляки, но хлопотать начал: написал губернатору Максюте письмо, приложил письмо хуторян, стал ждать. Ответ был неутешительным – все упиралось в большие, многомиллионные затраты, но мост с наступлением зимы построить обещали. Обещали и сделали. Не скрою – я рад этому. Какое облегчение людям. Речка перерезала хутор вдоль на две половины. А длина его, хутора, километров семь. Чтобы весной по-

пасть из одной половины в другую, надо трактору объехать добрый десяток километров, а пешеходное движение останавливалось на месяц. И вот теперь все утряслось. Со временем утрясутся и другие проблемы. Душе моей сладко при этом – так и хочется крикнуть, призвать – люди, делайте добро, если хотите быть счастливыми.

Свою первую книжку для детей я прислал маме, когда она еще жила в хуторе. Она была потрясена, ей думалось, что книги пишут какие-то особенные люди. А эту написал ее сын. Она листала, вглядывалась, не веря глазам, и находила подтверждение тому, что это не ошибка. А потом обнаружила и точный адрес сына, по которому можно писать отзывы на книгу. Она читала и перечитывала ее. Давала подружкам. Потом, это уж когда она жила в городе, была моим самым благодарным читателем.

Замечено мною, что люди, пережившие великие потрясения, часто становятся долгожителями. Вот и мои родные люди: бабушка Акулина прожила 87 лет, а ее гонители едва доживали до пенсии. Мама, еще крепкая на ногах, в возрасте 82 лет отважилась поехать автобусом в Андреяновку. А это четыреста с лишним километров. «Чую, что скоро моя жизнь кончится. Хочу проведать своих подружек, попрощаться с ними».

Съездила. Я расспросил, у кого была, какие места прошла. «Была у всех коренных хуторян. Ходила на старое пепелище, ходила в сад наш. Я его не узнала, так он одичал. Он не узнал меня, так я постарела. А еще я ходила к роднику. Попила водички. Наверное, в нем вода самая вкусная, что есть на земле» – сказала и на долго задумалась.

Я тоже не упускал случая, чтобы сходить к роднику. Для меня он живое, самое справедливое, самое щедрое на радость существо. Всегда с волнением я поднимался к нему по крутой тропинке, припадал к его прохладной лужице, и он успокаивал излишне часто бьющееся от волнения сердце. Может быть, покажется нелепым мое сравнение его с человеком, мне как-то безразлично – это мое личное мнение, но я твердо уверен, что это живое существо сродни человеку. Более, более того я могу сравнить его с конкретным человеком. И человек этот моя мама. Она создана для добра и всегда сдерживала меня, если я выходил за рамки приличия в общении с людьми, с животными, с тем, что растет вокруг, украшая нашу

жизнь. И родник раз в году бывает в плену зимней стужи. Но он борется за жизнь под ледяным панцирем и с помощью оттепели, пробивая его, вырывается на свободу. Так и мама во имя спасения детей перетерпела жизнь с нелюбимым человеком.

Родник вечен в своем начале и продолжении, человек вечен в непрестанном рождении своих потомков. Мария Георгиевна прожила 85 лет, жизнь ее продолжается во внуках, которые обещают повторить на земле доброе начало и его продолжение.

Николай Терехов

СОДЕРЖАНИЕ

Терехова Мария Георгиевна

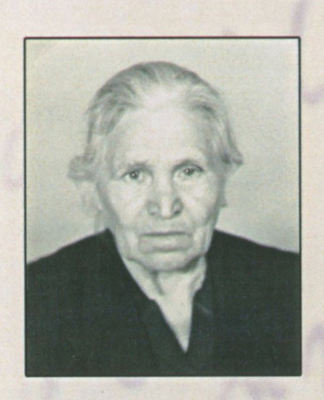
И ТАКУЮ ЖИЗНЬ ПЕРЕЖИЛИ

Рассказ-быль

Обложка Тереховой Людмилы Николаевны

Подписано в печать 23.07.2012. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,72.Тираж 200 экз. Заказ № 510.

Отпечатано в типографии
Волгоградского государственного технического университета
400005 Волгоград, просп. им. В.И. Ленина, 28, корп. №7.



Мария Георгиевна
ТЕРЕХОВА
родилась в 1905 г.
в хуторе Андреяновка
Алексеевского района
Волгоградской области,
в семье потомственных
казаков Панкратовых.
Разделив судьбу сотен
тысяч казачьих семей,
в 1933 г. раскулаченная
побывала в ссылке
на Северном Урале.
Выполняя наказ
умирающего мужа
спасти малолетних
детей, бежала с ними
из лагеря. Как ей,
не имеющей в кармане
ни копейки, удалось
осилить тысячи
километров. Как
смогла пережить гонения
уже на родной стороне, она
поведала в этом рассказе.